АЛЕКСАНДР НЕЙМИРОК





А. Неймирок

ДОРОГИ И ВСТРЕЧИ

ПОСЕВ

Обложка В. Филимонова

2-е издание, 1984

Frankfurt a. Main
Printed in Germany

Посвящается памяти друзей из России и из Европы, замученных и сожженных в концлагерных крематориях или расстрелянных без следствия и суда.

I. ЛИЦОМ К ЛИЦУ С „НОВОЙ ЕВРОПОЙ"

– Признаете ли вы свою принадлежность к организации русских солидаристов?

Запираться бесполезно и глупо.

– Да, признаю.

– Хорошо. Очень хорошо. Пожалуйста, закуривайте и, для начала, расскажите свою биографию.

Следователь – воплощенное внимание и предупредительность. О, он не враг русских солидаристов! Он сам не согласен с политикой своего правительства! Он нас допрашивает, как друг, как отец! Конечно, мы могли заблуждаться, могли близко к сердцу принимать крайности в „восточной политике", но мы же культурные люди, мы не грязные остарбайтеры, нам нужно лишь честно сознаться в невольных ошибках, раскаяться в кое-каких неосторожных поступках. (Ведь были же они у вас? Ведь правда же были?) И все пойдет, как по маслу.

Рассказываю, более или менее подробно, свою биографию, умалчивая лишь о некоторых частностях: о побеге с рабочего транспорта, шедшего в Германию из Югославии, о двухмесячной жизни в Берлине без всякой полицейской прописки, о нелегальной поездке на Украину с „липовым" хорватским паспортом.

Послушать меня – перед следователем невинная овечка.

Да, я принадлежу к организации. Да, я разделяю ее идеи. Но ведь Германия борется за торжество национального принципа? Но ведь новая Европа будет строиться на свободном содружестве народов? И затем, в конце концов, что такое организация русских солидаристов – Национально-трудовой Союз? Группа молодых русских эмигрантов, занимающихся чисто-теоретическими философскими построениями... Нет, ни о какой массовой пропаганде не может быть и речи!

– Зачем нам заниматься пропагандой? Скажите, зачем? Того, что делает ваше Министерство Пропаганды, вполне достаточно.

В глазах следователя мелькает что-то неприятное. Кажется, он усомнился в моей наивности. Впрочем, это был лишь один миг. Он снова сладок, как сахарин.

– Я читал вашу программу. В ней говорится о представительном строе, о демократических началах...

– А разве сам Гитлер не охарактеризовал Германию, как подлинную, самую передовую демократию? Что же касается представительного строя, то ведь национал-социализм – не предмет экспорта. Россия имеет свои особенности.

– Ну, да, да, конечно. Гммм...

Следователь углубляется в какие-то папки на столе. Я всматриваюсь в его лицо. Так себе обыкновенное тусклое лицо с рыжими усиками. Взгляд мой упирается в эмалированный кружочек со свастикой, что торчит в петлице рыжего (в тон усикам) пиджачка.

– Скажите, читали вы книгу Шубарта „Европа и душа Востока"?

– Читал.

– Хорошая книга. Умно написана. Не правда ли?

Я запинаюсь и молчу.

Следователь поднимает на меня глаза и смотрит в упор.

– Скажите, вы принимали участие в переводе этой книги на русский язык и ее нелегальном распространении?

– Нет. Кроме того, насколько я знаю, небольшое количество переведенных экземпляров предназначалось лишь для „внутреннего употребления" небольшого круга моих друзей.

Чувствую нутром, что это – щекотливый момент допроса. Но следователь как будто вполне удовлетворен моим ответом. С довольным видом, он заносит мой ответ в протокол.

(Тогда я еще не знал, что допрос, во многом, имел лишь чисто сыскной характер: гестапо интересовали, главным образом, имена членов организации. Все остальное – лишь „постольку-поскольку". Участь же наша была предрешена заранее: кацет, со всеми его последствиями.)

– Кого вы встречали на квартире Х.?[1]

Я вспоминаю наш договор: называть лишь арестованных, чтобы не „расширять круг". Называю

известные следователю имена. Он недовольно морщится.

– А других не встречали?

– Нет.

– А что вы знаете о связи вашей организации с польским Widerstandsbewegung?

Я делаю удивленные глаза.

– Но я же вам сказал, что мы – небольшая группа теоретиков. О какой такой связи может быть речь?

– Ну, да... Я задал этот вопрос только так, между прочим, для того, чтобы отчитаться перед моим начальством. Конечно, вы не можете всего знать... Впрочем то, о чем мы вас спрашиваем, пустяки. Важнее то, о чем мы вас не спрашиваем.

В его голосе какие-то зловещие нотки. Что это? Запугивание? Он дает мне понять, что знает больше того, что я ему говорю...

Я начинаю нервничать и всеми силами стараюсь это скрыть. Говоря по правде, я сам ничего не знал о сношениях организации с польскими повстанцами, но не видел в этом ничего невозможного. Неужели кто-нибудь попался с „поличным"? Тогда дело дрянь.

Но следователь, слава Богу, не прочел моих мыслей. На моем лице явственно изображалась оскорбленная невинность, – постоянная маска, которой я старался отгородиться от его настойчиво-приторного внимания.

Пока его пальцы стучат по пишущей машинке (а печатает он медленно, и время тянется долго), пока он обдумывает фразы протокола, я стараюсь сам проникнуть под эту лысеющую черепную коробку,

угадать, в чем именно нас подозревают и что именно о нас знают.

О деятельности в оккупированной России, о листовках, о группах среди „восточных рабочих" – ни слова. Значит – не знают. Много спрашивает о квартире Х. Неужели, кто-то из посетителей этой квартиры оказался предателем? Но семья Х. принимала к себе в гости без особого разбора и в высказывании своих мыслей там не стеснялись. Предатель мог быть и „со стороны", или, просто, подосланная в подозрительную квартиру мелкая полицейская сошка, вроде, например, известной русскому эмигрантскому Белграду четы Э.[2].

Но ведь, арестованная за неделю до нас в Б. семья Х. – лишь маленькое звено в большой цепи.

Вопросы следователя показывают, что от этой семьи гестапо добилось немного.

Логика успокаивает. Со скучающе-удивленной физиономией жду продолжения допроса.

– Что вы знаете о поездке Г.[3] в Швейцарию? Наверное, ничего?

– Почему ничего? Знаю и очень много знаю.

– Вот как? Ну, рассказывайте.

Следователь расцвел. Лицо его оживилось и стало особенно дружелюбным.

Он не знал того, что за час до допроса я, неожиданно для самого себя, виделся с уже арестованным Г. в канцелярии, куда его вызвали в один день со мной. Там должно быть не было известно, что мы задержаны по одному и тому же делу, и мне удалось переброситься с Г. несколькими нужными словами. Я знал теперь, как следует себя держать.

– Г.– швейцарский гражданин. Он ездил в Швейцарию к родственникам. Сам мне рассказывал об этой

поездке. Какая мирная, культурная и восхитительная страна Швейцария!..

– Ну, да, да... но это к делу не относится. Какие политические цели лежали в основе его поездки?

– Боже мой, никаких! Г. слишком молод для каких бы то ни было политических поручений. Кроме дел личного характера у него было лишь свидание с профессором Ильиным[4]. Но это – ученый, философ. Разговор с ним был, безусловно, интересный, но столь же безусловно далекий от текущей политики.

– Да, я тоже так думал. Г. слишком молод и неопытен.

Как он легко со мной соглашается. Уступчивость следователя начинает меня раздражать. То, что он, очевидно, имеет какие-то задние мысли, хочет предпринять какой-то обходной маневр, пробуждает во мне не настороженность, а, наоборот, смелость отчаяния. В конце концов, любой выход лучше этой игры в кошки-мышки! Меня подмывает вскочить и щелкнуть его по лысине, или ущипнуть за подбородок, или... (меня разбирает злой, нервный смешок), что если я сейчас попрошу его достать для меня билет в оперу?

А он, медлительно и вяло, словно пятиклассник, решающий задачу по геометрии, водит карандашом по бумаге, что-то выискивает, что-то подчеркивает, что-то вычеркивает, и все время шмыгает носом.

Сказать ли ему, что наши силы слишком неравны: у меня в мечтах то, за что жертвуют, может быть жизнью, а у него, в лучшем случае, повышение по службе?

Следователь поднимает на меня свои свинцовые глазки и с полминуты сверлит ими меня насквозь.

Кажется (или это только мне так кажется?) он читает все мои мысли.

– Знаете, – вдруг усмехается он, – с вами и вашими людьми приятно иметь дело. Вот недавно я допрашивал целую банду беглых остарбайтеров-грабителей. Стоит передо мной грязный дурак и врет, нагло и глупо врет. Губит себя, раздражает меня, а результат – кацет и виселица. Вы же люди интеллигентные, умные. Вы, если и врете, то умно врете.

Я вспомнил золотое правило: если допрашивают, то говорить, как можно более правдиво, то есть говорить „правду, но не всю", и усмехнулся в свою очередь.

– Прошу верить, что здесь (я указал пальцем на протокол допроса) нет, в сущности, ни одного слова неправды. Но это не значит, что мы расположены говорить вам все, что могли бы, если бы хотели сказать. А вот вы попробуйте сформулировать такой вопрос, на который мы затруднились бы дать ответ...

Эта, случайно вырвавшаяся, и, разумеется, совсем не „дипломатичная", скорее, каюсь, „мальчишеская" фраза, как я потом узнал, сыграла роковую роль в моей судьбе. Следователь меня возненавидел. Переводом в „лагерь смерти" Флоссенбург, я обязан именно этой фразе. Но это я узнал значительно позже: после крушения Германии, выхода на свободу и встречи с друзьями. А тогда маленький тусклый человечек ничем не показал своего неудовольствия. Он встал, протянул мне руку, крепко пожал мою и, прощаясь, прибавил:

– Я верю, что мы еще встретимся с вами в других условиях, в другой обстановке...

II. ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ СТИКС

8 июля 1944 года. День, который запомнится на всю жизнь. В этот день меня и моих друзей вызвали из тесной камеры в подвале тюрьмы на Groß-Hamburgerstrasse в Берлине, посадили в „черный ворон" и повезли... Куда? В автомобиле темно, хоть глаз выколи. Впрочем, ехали недолго.

Высадили около вокзала. Вокруг – полицейские. Нас сковали попарно и повели через толпу, наполнявшую вокзал.

Собственно говоря, следовало бы идти с гордо поднятой головой. Но мною, вдруг, овладело чувство жгучего, нестерпимого стыда. Ведь вся эта толпа, озирающая с пренебрежительным любопытством нашу вереницу, наверное, думает, что мы, либо взломщики, либо аферисты, либо убийцы... Я опустил голову и старался не смотреть по сторонам. (Теперь, когда вспомнишь об этом, то невольно укоряешь себя в малодушии.) Сняли наручники лишь перед самой погрузкой.

„Тюремный" вагон для перевозки преступников. На окнах – решетки. Но светло и чистый воздух. От двухнедельного пребывания в темноте наши лица позеленели. Свежий воздух опьяняет. Рядом с нами сидят „бывалые". Сенька из-под Смоленска, чернявый беспризорник, пойман, как главарь банды, прятавшейся в подвалах берлинских развалин. В течение двух недель эта банда убила 11 немецких „шупо"*. Подвал, в котором они прятались, стал складом драгоценностей.

---

* Полицейских.

Сенька задумчив.

– Шлепнут меня или нет? А место, куда мы едем, не концлагерь, а санатория. Кацетчики всей Германии мечтают попасть в Саксенхаузен. Там жратва не то что в тюрьме.

– А работа?

– Выжить можно. Раньше забивали на смерть, это правда. А в этом году уже так не бьют. Провинишься, так всыпят двадцать пять резиновыми палками. Да и это редко бывает.

Станция „Саксенхаузен". Нас выгружают и строят по пяти.

– Zu fünf! Antreten! Schnell!*

(Это „Zu fünf! Antreten! Schnell!" превратится потом, вместе с повелительным „los!" в как бы лейтмотив всей концлагерной жизни.)

Молодые эсесовцы берут винтовки на перевес. Вокруг них увиваются, лают и прыгают собаки. Мы подходим к воротам в бесконечно длинной, выкрашенной в светло-зеленую краску, стене.

Посмотреть издали на эту стену – создается впечатление средневековой крепости: на равном расстоянии эта стена прерывается башнями.

Над воротами башня побольше и повыше, с часами под крышей.

На нас глядит надпись:

„Schutzhaftlager** Sachsenhausen"

И пониже:

„Arbeit macht frei"***

---

* По пятеркам строиться! Живо!

** Охранный лагерь.

*** „Работа освобождает".

Часы (эта мелочь тоже почему-то запомнилась на всю жизнь) показывали без восьми минут три пополудни.

Итак, концлагерь. Теперь, когда пишешь, оглядываясь назад, то чувствуешь, что следовало бы подольше задержаться на этой минуте, – минуте погружения в какое-то нечеловеческое инобытие, минуте перехода через черту, отделявшую живых от заживо мертвых.

Но тогда... Палило солнце, хрустел под ногами песок... Не верилось, что „это" всерьез и надолго. Дальнейшая судьба возбуждала любопытство, я не ужас.

Ведь это, черт возьми, какая-то нелепица!

Воображаю, какое лицо сделает моя квартирная хозяйка, когда я явлюсь отсюда и расскажу, куда я заглянул...

За воротами – „аппель-плац": большая площадь, усыпанная песком. В центре – шест с громкоговорителем. Вокруг площади радиусами расположены одноэтажные зеленые бараки.

Каждый барак окружен цветником.

На стенах бараков, непосредственно примыкающих к площади, белой краской выписаны аршинными буквами слова. Все они вместе составляют фразу, звучащую по-русски так:

„Есть только одна дорога к свободе. Ее вехи: послушание, честность, трудолюбие, чистота и любовь к Родине".

По площади с лихими солдатскими песнями маршируют какие-то люди в сине-белых полосатых костюмах. (Уже в тот же вечер я узнал, что это штраф-

ная команда – „Strafkompanie". Ее назначение – от половины седьмого утра до половины шестого вечера кружиться походным маршем по „аппель-плацу", ценою ран на ногах снашивая до дыр солдатские сапоги. Таким образом проверяется прочность армейской обуви.)

Июльское солнце палит во всю. Лица марширующих пыльны, красны и потны. Из сотен глоток хрипло несется:

Es war ein Edelweiss.
Ein, zwei, Edelweiss...

а сбоку какой-то дюжий детина с бычачьим лицом и с толстенной плетью в руках выкрикивает в такт: Links! Links! und... Links!*

Где это мы? В кинематографе?

Тут же на площади нас выстраивают в две шеренги и начинается „смотр", производимый нам, (как мы потом узнали) „рапорт-фюрером" – толстым краснолицым эсесовцем с маленькими ленивыми глазами и со шрамом во всю щеку. Смотр несложен и немногословен.

– Почему ты, грязная свинья, прибыл сюда?

...жил с остарбайтершей...
...не являлся на работу...
...меня оклеветали, будто бы я рассказывал анекдот о нашем Фюрере...

– Потому что я...

Мы, не сговариваясь, отвечаем:

– За русскую национальную работу.

Белесые брови удивленно приподнимаются.

– Ладно. Мне все равно. Здесь вас всех отучат от разных таких глупостей. Марш!

---

* Левой, левой, левой...

В Schreibstube* от нас отбирают бумажники, у кого есть – кольца и нательные кресты, заполняют анкеты. (Последний вопрос: „Кому и куда писать, если с вами что-нибудь случится?") Затем стригут почти наголо головы, раздевают и гонят в баню. Выходя, получаем каторжную одежду, – белые с синими продольными полосами куртки и брюки и деревянные колодки.

Смотря друг на друга, не можем удержаться от улыбок.

Из бани, как уже „полноправных" каторжан, нас гонят в концлагерное „чистилище": карантинный блок. Все, вновь поступившие, отбывают двухнедельный „карантин".

Здесь нас встречает плечистый смуглый человек. Одет он в „штатское", но с нашитым номером на груди. Обращается к нам по-русски. Узнав, кто мы такие, протягивает руку:

– А мы здесь вас уже давно ждем.

Это (если я правильно помню его фамилию) Казакевич. Украинский революционер из О.У.Н., помощник и сподвижник Бандеры.

Но нас не интересуют сейчас его политические взгляды, как и его не интересуют наши.

Казакевич нас первый познакомил с лагерными правилами.

– Забудьте, чем вы были на воле. Здесь вы – арестанты. Старайтесь не попадаться на глаза начальству. Не говорите лишнего: доносчики есть и здесь. Научитесь ловчить и изворачиваться. Держите себя в руках – не поддавайтесь тоске по близким. Иначе – трудно будет переносить жизнь. Берегите себя –

---

*Канцелярия, писарская.

не пейте много воды, не употребляйте соли. Будете получать передачи, делитесь с блокманами, с форарбайтерами.

Барак разделялся на два крыла — „штубы". В каждой „штубе"* два помещения — для еды и для спанья. Чистота „упопомрачительная": полы не подметены, а вылизаны. В спальне нары в три этажа, устланные постелями — матрацы и одеяла. Всего в бараке четыреста человек — по двести в каждом крыле.

Порядок дня: побудка в четверть пятого. В пять — раздача кофе или жидкого супа. В шесть — утренняя поверка („аппель"). После поверки развод на работу. В полдень — литр супа. К шести вечера — возвращение с работ и вечерняя поверка. Затем — ужин (350 гр. хлеба с кусочком маргарина, колбасы или мармелада) и отбой.

Лагерь Саксенхаузен считается образцовым — здесь жестоко, но говорят, нет произвола...

К нам подходит кто-то высокий, плотный, квадратнолицый и курносый.

— Вы, я вижу, русские. Догадываюсь, кто вы такие. Будем знакомы: Бушманов.

Полковник генерального штаба Красной армии, Бушманов Николай Степанович, взятый в плен немцами, попал в РОА и там организовал заговор.

Организация была раскрыта, четырнадцать из шестнадцати ее участников были немцами публично повешены в том же Саксенхаузене на „аппельплаце". Почему-то оставались в живых сам Бушманов и один из его сотоварищей: капитан, по имени Петр (фамилии не помню). Оба не имели лагерного номера: они ждали смертной казни со дня на день, с

* Stube — собственно, комната.

минуты на минуту. И так тянулись месяцы... (Уже после крушения Германии и выхода на свободу я узнал их судьбу. Оба были расстреляны немцами возле концлагерного крематория, осенью 1944 года.)

Так вот кто он, первый концлагерный сотоварищ из России... Человек с неулыбающимся лицом. Густые „медвежьи" брови насуплены. Умный, но потухший взгляд.

Называя себя, я пожимаю руку неизбавимому смертнику, и отдаю себе в этом отчет.

И вот, кажется, только тогда, глядя в упор в его грустное лицо, я вдруг, (потому что в этот момент я был не по-человечески спокоен) всем своим существом впервые почувствовал, что за мной захлопнулась тяжелая непроницаемая дверь.

Пройдут две недели „карантина", Николай Степанович сделается нашим другом. Мы с ним будем расхаживать взад и вперед по узкому карантинному дворику.

И то, что, политически, он стоит „по ту сторону баррикад", отождествляя защиту Родины с защитой режима, не толкает нас на возражения. Спорим мы с ним редко и неохотно. Разве можно требовать от человека, идущего из-за своих убеждений на смерть, признания в своей неправоте? Это было бы жестоко. Иллюзия своей правоты была для Николая Степановича единственным утешением. Может быть, в глубине души он чувствовал силу наших аргументов. Но мы не настаивали на них. и, вообще, избегали касаться „острых углов".

Две недели, проведенные в одном бараке с ним, оставили о нем память, как об умном, серьезном, честном и мужественном человеке.

Вечером нас погнали на медицинский осмотр. Он происходил на дворике перед больничным бараком. (Почему это всегда в таких случаях идет дождь?) Мы стояли голые на вытяжку. Разумеется, „по пять". Перед нами сидел в непромокаемом плаще эсесовский врач. Рядом с ним врач из заключенных, в белом халате, вызывал по списку. Вызванный должен был подбежать и, за отсутствием каблуков, щелкнуть пятками.

Эсесовец окидывал фигуру безразличным взором и тыкал пальцем в своего заключенного „коллегу" что-то цедя сквозь зубы. Это и был весь осмотр.

Потом, все так же голые, мы должны были ждать очереди для рентгеновского снимка. Рядом с нами, на песке, лежала аккуратно сложенная одежда.

Стемнело. Дождь усилился. Подул ветер.

Мы стояли голые, ожидая очереди...

III. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

– Aufstehen! Los! Los!*

В окно тускло и печально брезжит раннее летнее утро. Четверть пятого.

Думать некогда. Некогда даже сообразить, что это – первый день в концлагере.

В умывалке давка: за короткий срок должны умыться четыреста человек.

На всех языках Европы несутся восклицания, равнозначущие русскому „посторонись". Полотенец

---

* Встать! Подъем! Давай! Давай!

мало. Они висят тут же, и из них – хоть воду выжимай.

Среди нас – молодой кретин-немец. Кретинов и глухонемых гестапо отправляло в концлагерь, как... политических преступников. С другой стороны, были случаи, когда настоящие „политические" носили розовый треугольник, полагающийся... гомосексуалистам. Иностранцы, все без исключения, носили красный „политический" треугольник с начальной буквой национальности (P – Pole, F – Franzose, R – Russe и т. д.)

Кретин заливается бессмысленным смехом, путается под ногами и всем мешает. Врывается кто-то из барачного начальства, дает ему пощечину и за шиворот выволакивает из умывалки.

На „аппель-плац" нас, „карантинных", не гонят. Не имеющие права выходить за пределы маленького дворика около нашего барака, мы выстраиваемся тут же.

Против нас выстраиваются наши соседи из противоположного барака – штрафная команда.

Блокман нас тщательно выравнивает по пяти в ряд.

Это сухорукий немец (левая рука постоянно в черной кожаной перчатке) с выцветшими глазами, одетый в отличие от нас, „полосатых", в новенький щегольской костюм. Лишь белая ленточка с номером, да зеленый треугольник (знак уголовных преступников) на груди указывают на его положение заключенного.

– Achtung! Augen... links!*

---

* Внимание! Равнение налево!

Входит царь и бог – грузный, кабаноподобный, заплывший жиром. На нем эсесовская форма. В руках стэк.

Мы стоим, не шелохнувшись.

Божество нас пересчитывает, записывая что-то в блокнот.

Тишина. Мы стоим на вытяжку. Так проходит пять минут, десять, пятнадцать, двадцать...

С „аппель-плаца" доносится:

– Mützen... auf! Arbeitskommando, abtreten!*

Это значит, что поверка кончена. Мы пересчитаны, все в порядке.

На работу вне „карантина" нас еще не гонят. Занятие, придуманное нам, пустячное. На дворике расставляются столы, на них высыпаются гвоздики, винты, гайки: детали каких-то машин. Нужно всю эту мелочь рассортировать, подобрать гвоздик к гвоздику, гайку к гайке. Нечто в роде игры в бирюльки.

Как-то само собой получается, что за столами сбиваются кучки по национальностям. Вот сидят французы. Вон там – чехи. Здесь – поляки.

Мы сидим в русской кучке, в самом ее центре.

Нас окружают простые молодые лица.

Русские концлагерники распадаются на две, приблизительно равных группы: бежавшие и пойманные военнопленные и проштрафившиеся восточные рабочие. Среди последних смешаны и „прогульщики" и заподозренные в политической неблагонадежности, и простые уголовники. Среди первых – уголовников нет.

---

* Шапки надеть! Рабочая команда, разойдись!

Мы не скрываем, что мы – эмигранты. Не скрываем и причины нашего заключения. Нас слушают с жадным, напряженным любопытством. Для них и наше появление, и то, что мы говорим – совершенная новость. Как будто бы мы с луны свалились.

– На верхах была измена, – задумчиво цедит высокий угрюмый блондин, матрос-черноморец.

– Яка там измена, – злобно подхватывает шустрый востроглазый паренек. – Народ не схотив воевать, и все. У нас в Харькове немца с цветами, с хлебом-солью встречали. А через два дня, как стали по всем улицам людей вешать, так живо опомнились.

– А почему народ не хотел воевать? – спрашивает один из нас.

– Вы его не слушайте, – ввязывается такой же шустрый и такой же востроглазый паренек, но откуда-то из-под Костромы, – это у них на Украине так было! Это украинцы подкачали! Вот и сидим теперь мы здесь из-за них. Одно слово: хохлы.

– А я шо? На свободе гуляю? – огрызается украинец.

– Ребята, так нельзя: сваливать вину один на другого. Дело не в украинцах и не в „измене" на верхах. И украинцы сейчас дерутся отлично, и в армии, и в партизанах, и измены никакой на верхах не было. Дело в общем состоянии страны к началу войны...

Нас слушают внимательно. Не перебивают. Одни сочувственно, другие настороженно: не кроется ли во всем этом какой-либо подвох. Уж очень необычно само наше появление среди них, уж очень необычны наши слова.

Мы не замечаем времени, забываем, что находимся в концлагере, винтики и гайки, лежащие перед нами, перестают для нас существовать.

Припекает солнце. Никаких шапок нам не дали, лучи падают на коротко остриженные головы, хочется пить...

Но зато мы в самой внимательной, самой благодарной аудитории.

В половине двенадцатого „игра в бирюльки" кончается. Наши „игрушки" сваливаются в ящики, столы уносятся в бараки.

– Antreten!*

Начинается что-то совершенно для нас новое: „урок гимнастики". Вначале мы маршируем. Потом Карл (сухорукий блондин) командует: „бегом!".

Бегать в деревянных колодках тяжело и больно. Отстать нельзя: отстающий пробует на своей спине пояс с бляхой, свистящий в руках у блокмана.

Один тур... другой... третий...

– Halt!**

Новая „точка программы": приседание. Хлопая в ладоши, Карл отбивает такт. Потом мы прыгаем, как лягушки, потом он бросается на нас, размахивая поясом, и мы должны разбегаться в разные стороны...

„Урок гимнастики" продолжается около часа. Затем – обеденный перерыв. Совершенно изнемогших, нас загоняют в бараки и раздают похлебку – шпинатный суп с горьким привкусом и похрусты-

---

* Строится!

** Стой!

вающим на зубах песком. Полчаса отдыха. Находящиеся в „карантине" не имеют права курить. Живущие в „рабочих" бараках могут курить только до утренней поверки или после вечерней, т. е. ранним утром или поздним вечером. Нарушивший рискует получить двадцать пять ударов резиновой палкой и перевод в штрафную команду.

Поэтому курят тайком, в уборной, где стоит крепкий запах махорки. В этом концлагере-„санатории" махорки, оказывается, вдоволь. Ее получают работающие, ее крадут причисленные к складам. Здесь сплошь и рядом к вам подходит незнакомый с буквой „R" или „U" на красном треугольнике и отсыпает вам „на скрутку".

Снова „бирюльки". Ко мне подсаживается высокий молодой человек. У него красивое и умное лицо, но на одном глазу черная повязка.

– Очень рад поговорить с интеллигентным человеком. Будем знакомы: Я – Алексей Л.

Я называю себя.

Мой новый товарищ – студент последнего курса Московского университета, сын профессора того же университета.

– Это ваше счастье, что вы попали в Саксенхаузен. Я целый год провел во Флоссенбурге. Вот это, я вам доложу, лагерь!..

– Хуже, чем здесь?

– Вы еще спрашиваете? Это – лагерь смерти. Он расположен на верху горы. Вечный дождь, вечный туман. Работа – в каменоломнях. Капо забивают на смерть. Если кто не может работать – палкой, камнями подгоняют к колючей проволоке, и тогда часовой стреляет. Видите, у меня нет глаза? Его выбил

эсесовец. Мне, собственно, старому концлагернику, не полагается быть в карантине. Я попал сюда по ошибке, но если я выйду, то назначат на работу. А я работать больше не могу. Не физически – сил-то, может быть, и хватило. Психически не могу. Я как-то душевно надорвался во Флоссенбурге.

– Бросьте, – успокаиваю я его. – Вы еще молоды. Нужно выдержать концлагерь, выжить, выйти. Нужно строить страну сызнова.

– Видно, что вы еще недавно гуляли на свободе, – грустно улыбается собеседник. – Вы еще не отдаете себе отчета в том, что значит выжить в концлагере. Впрочем, кто знает, как нас встретят там, на Родине. Я наши порядки хорошо знаю. Не забудьте, что и вы, и я – интеллигентные люди. Именно поэтому с нас спросят больше, чем вот с этих парней. На том допросе не поможет и мой выбитый глаз.

– Почему? – делаю вид, что удивляюсь. – Посмотрите на французов, голландцев, датчан. Все они спят и видят, как бы выжить, выйти на свободу и вернуться домой. Наши парни тоже только об этом и мечтают.

– Есть разница, проклятая разница между нами и западными. Не примите меня за врага народа. Я дрался на фронте до последнего выстрела. Взят в плен раненым. В концлагерь попал из плена за то, что обозвал одного пропагандиста немецким наймитом. Вы думаете, мне это зачтется? Как бы не так! В самом лучшем случае, дадут три года где-нибудь на Колыме или в Ухта-Печоре. – Он понижает голос. – Смотрите, никому не говорите, что от меня слышали. Вы – первый, кому я все это говорю. Кто знает, может быть я ошибаюсь, и дай Бог, чтобы я ошибся. А скажешь такое здесь – мне не сдобровать

от своих же. Ведь они только и живут надеждой свободы. Вы понимаете, что значит разбивать у них эту надежду? В немецкой-то неволе?

Вот значит, я его и кокнул, – рассказывает, причмокивая, как будто ест что-то вкусное, сидящий наискосок от меня смуглолицый человек с рассеченной нижней губой, – смотрю, он уж и не шевелится. Взял я у него, значит, бумажник, там – документы, карточки продовольственные, деньги. Документы я, значит, обратно, уничтожил, а карточки и деньги еще как пригодились. А француз говорит: мне половину давай...

Со мной знакомится доктор Кудерский, военный врач, родом из Омска. Попал в концлагерь за то, что у него в плену нашли дневник, писанный „соответствующим образом". Он очень быстро сделался нашим ближайшим другом, хотя с ним, как и с Николаем Степановичем, мы никак столковаться не могли. Доктор желчен, вертляв, глаза его – глаза фанатика. Во время спора он нас ненавидит... Его лицо передергивается.

– Вы судите слишком субъективно. Вы видите только дурное. Вы сгущаете краски. Вы видите только жертвы, а не хотите видеть достижений, не видите, во имя чего приносились эти жертвы. Помяните мое слово: если вы не измените своих позиций, вы рискуете скатиться в болото...

– Ох, уж это болото! Будто бы концлагерь – не худшее изо всех болот...

Мы принимаем спор, и он завязывается все снова и снова.

В половине шестого „бирюльки” снова ссыпаются в ящик. Вечерняя поверка длится гораздо дольше утренней. Стоим на вытяжку почти час.

– Mützen... auf!*

Концлагерный день кончился. В спальне давка. Все наше убогое имущество подкладываем под головы. (Нас предупредили: кража – нормальное явление.) Еще минута, две, – каждый из нас на свободе, среди своих близких.

IV. ОДИН ИЗ ДНЕЙ

Когда мы попали в Саксенхаузен (лето 1944 г.), времена легендарной жестокости в этом лагере стали уже недоброй памяти прошлым. Старожилы рассказывали о ежедневном голоде, о произволе блокманов, о безудержных избиениях. Нас, все это, к счастью, миновало. Произвол, к моменту нашего поступления, был заменен системой. Будешь придерживаться правил, – живи. Не будешь – пеняй на себя.

Каждое воскресенье рабочие команды возвращались с работы в полдень. На „аппель-плаце” их встречал лагерный оркестр, наигрывавший веселые марши. Вечерняя поверка заменялась дневной и, таким образом, полдня было свободным.

Эти свободные полдня использовали для маршировки. Чем-либо провинившихся (легко) выстраивали на плацу, и их, вместо отдыха, гоняли два-три часа шагом, бегом, вприсядку. Это называлось „спорт”.

---

* Шапки — надеть!

Более серьезные „провинности" наказывались поркой резиновыми палками. Перед экзекуцией осужденного осматривал врач. Это часто было простой формальностью: от порки освобождались лишь те, у кого были нарывы на спине. Редко кто был в состоянии встать после порки. Теряли сознание, как правило, все.

Наконец, были случаи смертных казней.

Они производились либо по предписанию гестапо над людьми, отправленными в концлагерь до окончательного разбора дела, либо по постановлению лагерного начальства, утвержденному Гиммлером или его заместителем Кальтенбруннером.

К первой категории принадлежал Николай Степанович Бушманов, знавший наверняка, что его в один прекрасный день вызовут к виселице, или к стенке, что за дровяным складом, рядом с крематорием. Такого же вызова ожидала и группа мальчишек с черными полосами лаковой краски на лицах. Их в концлагере держали отдельно: в особой комнате одного из бараков. Подходить к ним и разговаривать с ними было запрещено.

Во вторую категорию мог попасть любой из нас.

Я был назначен в команду, работавшую в лесу, для местного лесничества. Она так и называлась Forstamtkommando. Очевидно, кто-то в канцелярии лагеря, прочтя в картотеке мою специальность (лесной инженер), решил сыграть со мной шутку, и записал меня на тяжелые лесные работы.

Нас (человек 25) выводили утром вооруженные эсесовцы и вели пешком километров восемь по шоссе в лес, окружавший маленький городок Саксенхаузен. Там нужно было валить сосны, перетас-

кивать их к расставленным козлам и перепиливать на бревна. Пильщики – привилегированная, самая легкая профессия в нашей команде. Пильщиками работают только норвежцы. (Благодаря частым и необыкновенно богатым краснокрестовским продовольственным посылкам, норвежцы занимали особое положение в лагере.) На долю всех остальных (а все остальные, кроме немца-уголовника на должности капо и его помощника – поляка, были русские) выпадает перетаскивать на своих плечах тяжеленные сосны, и подавать их норвежцам для распиливания.

Но есть что-то, более тяжелое, чем эти ненавистные бревна, после которых ноет все тело, а кожа на плечах растирается до ран.

Каждое утро мы проходим по улицам чистенького городка Саксенхаузен, с телефонными будками, неизбежной Фридрихштрассе, сквериками и кирхой с часами на колокольне. Еще непривычно чувствовать себя в арестантском строю, еще не разносились грубые брезентовые башмаки на деревянных подошвах, еще тянет сделать шаг в сторону, к телефонной будке, и позвонить в Берлин, знакомым, друзьям...

А на работе, когда к нам подходят местные лесники – пожилые, толстые, сумрачные, с двустволкой за плечами и трубкой во рту – каждый раз капо – плотный, коренастый уголовник, показывает им на меня пальцем:

– Er ist ein Forstassessor, dieser Kerl.*

И на меня смотрят с любопытством, как на интересного зверя. Раз даже пришел, специально, чтобы

---

* Он ученый лесничий — этот парень!

мною полюбоваться, мой „коллега" – щеголеватый лесничий с военной выправкой.

Небритый, грязный, потный, я кряхчу, сгибаясь под смолистым стволом.

– Los, Herr Forstassessor, los, los!* – капо захлебывается от восторга.

Лесничему, кажется, стало не по себе. Он быстро уходит.

Я тащу дерево, думая о том, что Сеньки, черноволосого плутоватого Сеньки из Смоленска, который вместе с нами ехал в тюремном вагоне в лагерь, уже нет в живых. Вчера вечером его вызвали и повели куда-то за дровяной склад, туда, где возвышается красная кирпичная труба крематория. Должно быть, отрубили голову. Как происходит эта операция: рубка головы? Воображение рисует потемневший от крови, весь в царапинах, пень, корзину с опилками, равнодушные лица эсесовцев...

В концлагере есть свой палач. Он освобожден от всякой другой работы. Получает вдоволь еды и папирос. За каждую экзекуцию, сверх того, стакан шнапса. Я его еще никогда не видел в лицо, но он мне представляется чем-то похожим на рапортфюрера: – он должен быть непременно толстым, с багровым лицом, с маленькими свиными глазками.

– Na, was ist denn los?**

Какая досада! Задумавшись, я прошел мимо пильщиков. Сделал лишних целых шесть шагов. Эти шесть шагов отзовутся, в какой-то ничтожной степени, но все же отзовутся, большей болью в плече, большей усталостью, более частым сердцебиением...

---

* Давай, господин лесничий, давай, давай!

** Ну! В чем дело?

Труднее всего взвалить дерево на плечо. Потом, когда оно уже придавило тебя так, что сами собой сгибаются, подкашиваются ноги, нужно закусить губу и, не теряя ни секунды, идти с ним к месту пилки. Только, как можно скорее. Остановишься с этой проклятой тяжестью – не выдержишь. Упадешь, и она тебя придавит.

Но все это еще полбеды. Если б только не это постоянное „Ios”. Можно было бы уйти в полузабытье прошлого, или думать о всякой ерунде, не замечать этой, разливающейся по всему телу, тяжести.

– Halt!*

Слава Богу! Наступает самый выигрышный, самый светлый момент во всем нашем каторжном дне.

Лес зарос черникой. Жена господина унтер-шарфюрера (или как его там?) любит чернику. Последние два часа до конца работы посвящаются сбору черники. Это, в сущности, не отдых, но, по сравнению с перетаскиванием деревьев, несомненный отдых. Семь часов мы надрываемся; два часа – ползаем на корточках, собирая ягоды. И благодарим Бога за то, что их собираем.

Возвращаясь в концлагерь, проходим мимо телеги с каким-то деревянным сооружением, стоящей в стороне от ворот. Рядом со мной (мне это в новинку) шепчут: „сегодня опять кого-то будут вешать”.

Заключенные, проходя через концлагерные ворота, обязаны снимать головные уборы. Нам приказано делать этот жест, символизирующий „отдание чести” нашим тюремщикам – эсесовцам.

---

* Стоп!

Вечерняя поверка вначале проходила, как обычно. Тридцать тысяч человек выстроились на площади; началось бесконечное выравнивание, пересчитывание...

– Mützen... ab!*

Шваркнуло тридцать тысяч, сдернутых, как одна, шапок, и все замерло.

Потом пошел глухой, придавленный шепот.

Из карантинного блока показалась процессия: несколько эсесовцев с винтовками наперевес, окружающие группу людей. Один из них, высокий, толстый, в блестящих сапогах. Он повернул лицо в нашу сторону и усмехнулся. Лицо, – как начищенная медь, и жестокая мертвая улыбка. Я как-то чутьем понял, что это не смертник. Это – палач.

Лиц смертников я так и не видел. Слишком быстро они прошли шагах в двухстах от нас.

С того места, где я стоял, можно было видеть лишь верхнюю перекладину виселицы с двумя петлями.

Чей-то голос читает по-немецки приговор. Другие голоса подхватывают этот приговор по-польски и по-русски.

Гржибовский Казимир и Кузнецов Михаил, будучи на работах по извлечению из развалин неразорвавшихся бомб, обнаружили в одном из помещений съестные припасы и присвоили себе.

По распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Гржибовский Казимир и Кузнецов Михаил сейчас будут публично повешены.

Откуда-то сверху раздался еще один голос:

– Прощайте, хлопцы!..

---

* Шапки — снять!

– Mützen... auf!*

Поверка кончилась. Тела повешенных по какому-то там „бефелю" (приказу) висели на площади пятнадцать минут.

Все это время площадь была пуста.

Затем их унесли, виселицу разобрали, и началось обычное вечернее „гулянье".

Громкоговорители передавали музыку. Со столба спархивали и кружились венские вальсы. Какая-то опереточная примадонна изнывала от любви, от весеннего леса, от прогулок по Пратеру...

Мне сжал локоть подошедший сзади мой новый друг – югославянский журналист Звонимир Кустер.

– Слыхали? Сегодня союзники высадились на средиземноморском побережье Франции.

V. ТРАНСПОРТ

Я пробыл в Саксенхаузене недолго: что-то около двух месяцев. Потом меня назначили к переводу во Флоссенбург. В Саксенхаузене (как и во всех других концлагерях) от времени до времени организовывался „транспорт" (этап) – переправка известного количества заключенных из одного лагеря в другой, вызванная нехваткой рабочей силы в одном месте и ее избытком в другом.

Как я уже сказал, Саксенхаузен считался образцовым лагерем и попасть в нем на „транспорт" было жребием, которого старались избежать.

Решающей инстанцией в отправке того или иного заключенного „на транспорт" был, очевидно, блок-

* Шапки – надеть!

ман. Когда ему поступало распоряжение выделить определенное количество заключенных для переброски в другое место, он подбирал, обычно, таких, которые ему чем-либо не понравились, или не имели постоянной работы.

Но в моем случае блокман был решительно ни при чем. „Не понравиться" я ему не мог, так как не попадался ему на глаза, работая вне лагеря, в лесу, и возвращаясь в барак лишь по вечерам; неимение постоянной работы, как причина, отпадало само собой.

И все-таки... В один прекрасный день я получил распоряжение на работу не идти.

– Ты назначен в „транспорт", – сказал мне блокман, – это распоряжение пришло из канцелярии. – Он на меня с любопытством посмотрел и вполголоса добавил: – Должно быть, у гестапо какие-либо счеты с тобой. Это идет оттуда, сверху.

Действительно, когда всех нас, намеченных на очередной этап выстроили на „аппель-плаце", чиновник (это был настоящий чиновник, несмотря на номер и зеленый треугольник на груди: упитанный, высокомерно-брезгливый, недоступный в своем канцелярском величии), подходя ко мне, спросил мою фамилию и процедил:

– Ага! Его нужно отправить во Флоссенбург!

В тот же вечер, не успев попрощаться с друзьями, я был вызван („Los") и вместе с тысячью других таких же „флоссенбургских кандидатов" заперт во дворике между изоляционными бараками.

Так мы промерзли почти всю ночь; на дворе стоял неприветливый северный сентябрь.

– Подходи сюда, русак, закурим.

На каком-то чурбане примостился маленький сухонький человечек. В темноте на смуглом лице поблескивают его глаза и крепкие белые зубы.

– Какой области?

Оказалось, что мы земляки. Он, как и я, родом из Киева. С той лишь разницей, что Киев я помню смутно (зеленый обрыв, гладь реки, белые церкви, – отрывочные образы раннего детства), а он там прожил почти всю свою жизнь.

Маленький сухонький человечек... Григорий Григорьевич Григорьев. Чей-то внебрачный сын, выросший в детском приюте. Скромный служащий лесхоза, лейтенант запаса Красной армии. Прочтите в „Войне и мире" страницы, посвященные Платону Каратаеву, и вы получите полное представление о Григории Григорьевиче Григорьеве.

– Что ж, теперь будем вместе. Завтра, как будут по вагонам размещать, глядите, чтоб в один вагон попали. Вы смотрите, что у меня есть...

Жилистая волосатая длинная рука, похожая почему-то на лапку обезьяны, приподымает какой-то мешок.

– Мешок я сам смастерил. Из портянки старой. Видите, какой хороший мешок вышел. А в нем табак. Ребята ящики с табаком разгружали, ну и мне кое-что перепало. Я мало курил, все про черный день берег. Вот он, черный день-то и настал...

История Григория Григорьевича – история не одной тысячи русских людей.

– Я и еще двое бежали из плена. Я, как лейтенант, за старшего у них был.

– Карты, компас были у вас? Как вы дорогу находили?

— Какие там карты и компас! Ночью по звездам шли, а днем в лесу спали. Запаслись сухарями, ими и питались. Только потом сухари кончились, и начали мы голодать. Под конец совсем исхудали. Ребята хотят ночью к бауэру идти, организовать там что-нибудь, а я не даю. На этом наш брат чаще всего ловится. Так я им от своего запаса давал, сам не ел. Уж совсем было до Польши дошли. Это из-под Ростока-то пешком. Крестьяне нас в лесу сонных накрыли; один переход до границы был. В гестапо долго не расспрашивали. Прямо сюда.

— Вы женаты, Григорий Григорьевич?

— Осталась у меня жена в Киеве и двое мальчиков. Старший в десятилетку начал ходить...

Григорий Григорьевич вытащил из кармана какой-то комочек.

— Вот это мое добро. Вот это я тряпочку подобрал. Если одежда порвется, пригодится. А это я иголки и нитки в портняжной раздобыл.

Так же незначителен этого разговор, как незначителен он сам, похожий на мурзилку черномазый человечек, и так же он важен для меня, как неизмеримо важен, неизмеримо спокоен, прост и глубок этот живой человек — непомнящий родства, Григорий Григорьевич Григорьев...

— Григорий Григорьевич, а ведь мы, может статься, и не выживем?

— А Бог не без милости. Авось и выживем. Вот нашли мы друг друга, так уж давай вместе держаться.

Я протянул маленькому человечку руку.

— Да, да, я говорю, что ежели вместе держаться, то куда легче. Вам-то, может, тяжело, а вы не отходите от меня, я вам буду помогать, а вы мне...

Рядом со стенами концлагеря – небольшая железнодорожная станция.

Товарный поезд нас уже ждет. Эсесовцы загоняют людей в вагоны палками и прикладами. У каждой двери – давка. Каждый торопится влезть поскорее, чтобы не получить удар в спину с размаха. Сапоги бьют по головам, сзади несется хриплый лай эсесовцев и шмякают приклады и палки по спинам.

На каждый вагон – восемьдесят человек. Пространство у дверей должно быть свободным. Там рассаживаются конвоиры. Мне посчастливилось: я успел забиться в угол, и толпа меня прижала к стене, когда в вагон ворвался какой-то эсесовец с искривившимся лицом и, брызжа слюной, начал что-то вопить, сопровождая вопли ударами доски, выломанной из какого-то забора.

Один такой удар пришелся по сидящему на корточках впереди меня старику. Старик, обернувшись ко мне, улыбнулся.

– Ничего. И это придется снести. Нужно ко всему относится философски.

Пан Ружицкий, еще недавно – директор варшавской фирмы. Как известно, непосредственных участников трагического восстания в Варшаве, взятых с оружием в руках, немцы приравняли к военнопленным, а мирное население было ими отправлено в концлагеря. Вереницы „варшавяков" проходили через ворота Саксенхаузена...

Опершись, из-за тесноты, всем телом на меня, рядом со мной сидит другой „варшавяк" – начальник музыкального отдела варшавского городского самоуправления, философ и композитор Чудновский.

Уроженец Сибири, воспитанник Омской гимназии и Томского университета (он сам, с оттенком гордости называл себя „русским поляком") доцент философского факультета университета в Варшаве, Казимир Фаддеевич был одним из тех людей, с которыми никогда не бывает, да и не может быть скучно.

Я никогда не видел его оживленным, бодрым. „У меня есть предчувствие: я не выживу", – говорил он мне. Но грустным, подавленным я его тоже никогда не видел. Его спокойствие было спокойствием человека, сумевшего стать выше горя и страха.

В вагоне нестерпимо тесно. Не пошевельнешься. Со всех сторон навалились тела. Кое-где слышна озлобленная брань. Где-то двое подрались и тут же обняли друг друга потому, что вагон качнуло. Минута, и поняв, должно быть, что им с места не сдвинуться, что они плотно прижаты друг к другу на все время пути, дравшиеся вступают в мирный разговор.

Мы огибаем Берлин. Через раскрытые двери видны обгорелые остовы, груды щебня и кирпичей, дома с выбитыми стеклами. Гвоздят по надменному железобетонному сердцу „Новой Европы". Когда, когда будет оно истерто в прах?

Поезд останавливается у Инсбрукерплатц.

Как странно! Вот Мартин-Лютер-штрассе. Если по ней пройти два квартала и позвонить в подъезд дома номер... номер... Ах, да! Номер 51. Здесь живет одна славная русская девушка. Она рассказывала мне про Волгу. Помню, мы гуляли вот

по этой самой улице, заходили вот в эту кондитерскую на углу. Как странно: ведь это было каких-нибудь три месяца назад... Тогда уже начиналось лето, и эти липы были так же зелены, как и сейчас...

Еще минута – и я бы рискнул высунуть голову в дверь...

Поезд резко трогается. Инсбрукерплатц уплывает в сторону. Снова мелькают обломки домов.

– Небось, курить хочется? Берите, я вам уже скрутил...

Через головы откуда-то сбоку протягивается сухая, жилистая рука. Поблескивают знакомые глаза, улыбается сморщенное небритое лицо.

– Я не понимаю, как мог Достоевский, великий Достоевский унизить себя до того, чтобы написать в „Игроке" фразу: „суетился какой-то полячишка"? Как он мог так незаслуженно оскорбить весь польский народ? Как поляк, я этого Достоевскому простить не могу.

Казимир Фаддеевич, сидя на корточках и держась руками за мое плечо, говорит так, как если бы он сейчас находился в какой-либо варшавской гостинице.

– Это неверно, что поляки и русские – антиподы. Наоборот, в нас очень много общего. Разве польская и русская женщина не родные сестры? Почему вы, русские, видите в нас только „кичливых ляхов"? Неужели, кроме кичливости, у нас ничего нет?

– Простите, я буду с вами откровенным. Лишь здесь, в концлагере, я близко присмотрелся к ва-

шим людям. Меня поражает пропасть, существующая у вас между интеллигенцией, или, употребляя ваше слово, „шляхтой", и народом. Разрыв между интеллигенцией и народом в дореволюционной России – трещина по сравнению с тем, что делается у вас. Будто бы в Польше – два польских народа. Народ Мицкевича, Костюшко и Шопена и народ этих всех Франеков и Юреков, которые пролезли на все должности в концлагерях, обворовывают и избивают своих же.

– Что делать. Вы правы. И в этом, конечно, во многом виноваты мы, интеллигенция. Но эта война, как бы она для нас, поляков, ни кончилась, научит и нас, и их многому. В конце концов, и Франеки и Юреки – отщепенцы, существующие в любом народе. Наш же долг – пробудить то лучшее, что таится в каждом польском „хлопе". Но для этого и нам придется и переучиваться и работать. Если бы только не... гм... гм... не...

– Угроза с Востока, хотите вы сказать?

– Вы меня предупредили. Что ж, буду откровенным и я. Да, угроза с Востока. Россия – это стихия. И от этого, какой будет эта стихия после войны, зависит и будущее Польши. Сейчас эта стихия нас пугает...

– Не Россия вас пугает, а шигалевщина. Договаривайтесь с Россией и помогите ей изжить шигалевщину. Но будьте сами для этого достаточно духовно стойкими и политически зрелыми...

Война... Жестокая война двух жестоких систем. Что мы в этой войне? Пусть за нами Правда, пусть нас тысячи, но для необъятных лесов и полей нас, все же, горсточка. Народ, поднявшийся на дыбы во

весь свой огромный рост, защищает Родину, как может, пользуясь тем оружием, той организацией, тем правительством, которое у него под руками. Все, что мы можем сейчас, – это сеять семена. Может быть, они взойдут без нас. Может быть, на нашей крови. Важно, чтобы они взошли... О чем это, бишь, я думал? Да! О войне, о нас... Все это красивые мысли, которыми утешают себя все люди в таком положении, как я. Вот и Казимир Фаддеевич, что наконец-то заснул, и этот молодой веснушчатый голландец с раскрытым ртом, и Григорий Григорьевич мой похожий на мурзилку названный брат, каждый по-своему, наверное, тоже так думают... А ноги затекли, и не пошевелишься... Говорят, зимой такие этапы – дорога в могилу. Когда они приходят к месту назначения, оказывается, что половина – покойники.

Да... Вот так, кажется. удобнее. Как это я раньше не заметил этого места для ноги? Теперь можно ее вытянуть... Вот так... Так... Так... Так-так... (колеса стучат) ... Так... так...

Залитый солнцем Инсбрукерплатц. Я иду по улице, засматриваюсь на витрину кондитерской и обдумываю, что я скажу, когда позвоню в подъезд этого дома номер 51... Милое, полное лицо... Слегка раскосые карие глаза...

Утром нас выгружают. Я ищу глазами Григория Григорьевича, нахожу его и протискиваюсь к нему. Нет, это не Флоссенбург. Кучка некрашенных деревянных бараков, обнесенная колючей проволокой. Рядом – вышки доменных печей. Совсем недалеко – лесистые горы.

– По пять разобраться! Быстро!

VI. ОАЗИС ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Да. В моих странствованиях по концлагерям (за десять месяцев я побывал в пяти) был и оазис. Назывался он „Aussenkommando Seestadtl" и просуществовал всего полтора месяца. Это была не „санатория" типа Саксенхаузена или Дахау, а, именно, оазис. Первый день его существования начался с прибытия нашего транспорта в опорожненный лагерь „остарбайтеров" в местечко Зеештадтль в Судетах, а последний его день – днем нашего отъезда во Флоссенбург.

Уцелел ли кто-нибудь из бывших в Зеештадтле, кроме меня? Может быть, да, может быть, нет. Весь состав транспорта – 1000 человек – был превращен в „Aussenkommando", и пока существовал этот „Аусенкоммандо" существовал и лагерь. Потом его жители были размещены по другим лагерям и, очень возможно, что все, за исключением меня одного, сложили в них свои кости. Но если кто-нибудь, кроме меня, вынес, после всех странствий, свое бренное тело на свободу, он будет вспоминать о Зеештадтле так же, как и я: это был оазис за колючей проволокой.

Внешний вид оазиса совсем не походил на рекламные картинки, украшающие коробки с табаком. Грязно-серые бараки. Вышки по углам изгороди из колючей проволоки. В самом лагере – ни травинки. Рядом – огромные коксоплавильни, из которых день и ночь стелется дым. Совсем недалеко – Судетские горы. (Зеештадтль – фабричный поселок в Чехословакии рядом с городком Брюкс.) Здесь высоко: говорят, зимой снег достигает полутора-двух

метров, а 20-градусные морозы – обычная вещь.

Сюда приехали неожиданно для самих себя: этап направлялся во Флоссенбург, и чуть ли не в последний день в каких-то инстанциях было решено отправить его именно сюда.

Вместе с нами приехало и наспех сколоченное лагерное начальство, откомандированное от многочисленной охраны и администрации Саксенхаузена. В дороге мы присмотрелись к этому начальству. Это не те, что загоняли палками в вагоны. Те, должно быть, остались. Это – пожилые люди, призванные в армию, и лишь временно причисленные к частям СС. Отношение их к нам – сочувственно-добродушное.

Молод по летам лишь „рапортфюрер". Но и это не саксенхаузенское страшилище. Это – молодой человек с мягкими чертами интеллигентного лица. Носит очки. Похож на молодого врача, или, даже, аббата. По-немецки говорит безукоризненно, но с каким-то чужим акцентом. С заключенными чехами всегда говорит по-чешски. В лагере шепчутся, что „рапортфюрер", в действительности, чех, выдавший себя, по каким-то соображениям, за судетского немца.

Комендант лагеря – высокий рябой простоватый немец с железным крестом за прошлую мировую войну.

На этап кажется, отобрали всех, кто не нашел себе работы в Саксенхаузене. Больше половины – нетрудоспособные старики. Большинство в нашем лагере поляки, притом, преимущественно, „варшавяки". Есть, однако, и французы, и сербы, и бельгийцы и, разумеется, русские. А парикмахер наш – итальянец из Аргентины.

В первых числах сентября началась наша совместная жизнь; настолько она была своеобразна, что, боюсь, страницы, посвященные Зеештадтлю, будут читаться с недоверием.

Уже на другой день после нашего прибытия, мы были выстроены, и комендант лагеря произнес краткую речь.

– Все, кто чувствует себя способным к работе, пусть запишется у своих блокманов. Работающие будут получать усиленный паек, за счет фирм, с которыми я договорился. От фирм же они будут получать литр супа. Хорошего, жирного супа. Лагерное довольствие не в счет. Кто работать не может – пусть остается в бараках.

Блокманы – ехавшие с нами заключенные из немцев. Еще вчера они сидели в одних вагонах с нами, как товарищи. В подавляющем большинстве они товарищами и остались.

Охрана порядка была возложена на какого-то очкастого голландца. Он был единственным, кого все дружно ненавидели. Лишь он один ходил всегда с палкой, кружа вокруг продовольственного склада.

Паек неработающих (в этой книге я всегда привожу данные о продовольствии. Пусть читатель не забудет, что еда и условия работы в концлагере – вопрос жизни и смерти): 400 граммов хлеба в день (с маргарином, мармеладом, колбасой или сыром поочередно) и литр, а то и полтора литра густой похлебки. Работающие уже получали, сверх того, еще 200 граммов хлеба с теми же добавлениями и литр супа (правда, совсем не жирного, а жидкого и „тощего") от фирмы, на которую работали. По воскресеньям, кроме супа, варился сладкий молочный кисель.

Мы поправляли железнодорожное полотно путей, ведущих к каменноугольным шахтам. Работа, нельзя отрицать, грубая и тяжелая. Но, во-первых, на нее никто не гонит, а во-вторых, когда работаешь, то никто не стоит у тебя над душой. Я все полтора месяца, кажется, ни разу не слышал ни „los", ни „schnell!". Гражданские мастера, по-видимому, чехи, хотя они и говорят с нами по-немецки. Наш мастер – дряхлый старичок. Он приходил, покряхтывал, садился, закуривал трубку, да так и оставался сидеть весь день. Перед уходом он, почти на глазах отворачивающихся обычно в эту минуту конвоиров – двух старых солдат – совал кому-нибудь из нас газету.

Помню, целую неделю мы работали на полотне, идущем среди нив. Там и сям, шагах в двадцати от полотна, росли в нивах яблоки и груши. Долго мы смотрели то на деревья, то на конвоиров. Наконец, их сердца не выдержали.

– Пусть двое из вас идут туда, натрясут фруктов и принесут остальным.

Распорядок дня: подъем в шесть часов, завтрак в половине седьмого. Выход на работу в семь. Начало работы в восемь. Работа до двенадцати. Обед и отдых до часу. Снова работа до четырех. Возвращение к пяти. Второй (лагерный) обед в пять. Ужин в восемь. Отбой в девять.

Может быть, он был и не таким уж хорошим, этот странный лагерь. Колючая проволока не превратится в живую изгородь из розовых кустов, деревянные бараки – не жилые дома с мягкой мебелью и символ отверженности – полосатая куртка – никог-

да не заменит, пусть самой убогой, но, все же, „вольной" одежды, – но мы, бесправные рабы, каким-то чудом в нашей судьбе, были переданы в руки простых и хороших людей, сделавших все от них зависящее, чтобы облегчить нам нашу жизнь. Многого они, разумеется, сами сделать не могли. Но то, что они для нас делали, достаточно, чтобы вспомнить их, наших невольных тюремщиков, с благодарностью.

Свободное время (а его было не так уж мало) я проводил, чаще всего, с Казимиром Фаддеевичем, с одним адвокатом-французом, с русскими врачами и с Григорием Григорьевичем.

Казимир Фаддеевич всегда ровен. Даже в разговорах со мной, его близким другом, он следит, как бы в его словах не проскользнула затаенная боль – вечный спутник концлагерника. Я близко узнал этого человека: сдержанного, тихого, усталого.

Он был влюблен в Россию. Это не мешало ему быть, до мозга костей, поляком.

– Нам не нужны ни ваш Минск, ни ваш Киев, – любил повторять он мне, – но наш Львов и наша Вильна должны остаться польскими.

Я всегда, в таких случаях, выражал сомнение в польском характере украинского Львова и литовской Вильны.

– Впрочем, вопрос о границах – дело будущего, Казимир Фаддеевич! Свободная Польша нужна свободной России, как барьер против германизма. Нет ни одного русского, который не считал бы присоединение Польши к России при Александре I величайшей исторической ошибкой.

Поспорив ровно столько, чтобы, не затрагивая друг друга, остаться каждый при своем мнении, мы

часами мечтали вместе о будущем сотрудничестве Польши и России, сотрудничестве, вопреки историческим спорам.

Какая все-таки нелепость эта польско-русская распря! Во всех концлагерях я замечал следы этой „кровной" вражды. Наши ребята, как правило, терпеть не могли поляков, а те, в свою очередь, не любили русских.

Впрочем, поляки делали разницу между русскими и украинцами. Дружелюбно относясь к первым, они не упускали случая позлословить на счет вторых.

Наши же ребята не любили поляков не за то, что они были поляки (национальная вражда – чувство, кажется, органически не свойственное русским), а за то, что во всех концлагерях поляки занимали, наряду с немцами, различные административные должности, и зверствовали ничуть не хуже немцев.

Мне часто приходилось тогда землякам доказывать, что сами поляки стыдятся таких соотечественников и не считают их сынами польского народа.

Морис Ренн, молодой адвокат, родом откуда-то из Гаскони, по признанию своих друзей – французов „un charmant garcon"*. Действительно, его открытая улыбка, его манеры – манеры безукоризненно, светски воспитанного человека, его качества товарища – все это в нем привлекало.

Взят он был немцами с „поличным", как участник „движения сопротивления".

– Били вас на допросах?

---

* Симпатичный парень.

— Меня — нет. Но следователь очень любезно дал понять, что он умеет применять и другие методы. Он был очень воспитанный, этот следователь, настоящий немецкий джентльмен. Мне рассказывали, в чем заключаются эти другие методы. В первый раз — двадцать ударов палкой. Во второй раз — сорок. В третий раз — восемьдесят. В четвертый раз — сто шестьдесят. Не знаю, случалось ли ему доходить до трехсот двадцати. Думаю, что на двухсотом ударе допрос прекращался автоматически... А секретаршей его была хорошенькая блондинка. Очаровательное существо. Во время этих операций она лакировала себе ногти, пудрила личико, или болтала по телефону с поклонниками. Их было у нее, должно быть, много. На столе у нее всегда стояли цветы. Ça, c'est delicieux, n'est-ce pas?*

Русских врачей было трое. Интересно, что старший из них, Прокоп Федорович Загородный, и не был, в сущности, врачом. В Советском Союзе был он не то народным учителем, не то фельдшером. Попав в плен, он быстро сообразил, что самая сытная профессия в плену, это — надеть белый халат и взять в руки стетоскоп. Почти полное отсутствие медикаментов (так что не было в чем запутаться), с одной стороны, и наличие большой сметки, с другой, помогли сохранить ему свое „инкогнито", приобрести известный опыт (за смерть никому не нужного пациента врач все равно не отвечает) и проявить свои дарования уже в концлагере, куда он угодил, как я об этом из его слов догадывался, по подозрению в связи с организацией полковника Бушманова.

---

* Чудесно, неправда ли?

От виселицы его спасло то, что прямых доказательств против него не было, и на допросе от него ничего не добились.

– И револьвер ко лбу приставляли, и за локти подвешивали – говорил, что ничего не знаю. Тем и спасся.

Человек с большой хитрецой Прокоп Федорович никому не доверял. О своем прошлом он рассказывать не любил. Я так и не знал, откуда он, где он жил, есть ли у него семья: то, о чем концлагерник повествует особенно охотно.

Меня он почти каждый вечер приглашал к себе. Во-первых, я ему переводил с немецкого на медикаментах: назначение лекарств и способ употребления. Во-вторых, я ему рассказывал политические новости. Он слушал и помалкивал. А затем, задумавшись, и смотря куда-то в угол, начинал тоненьким голоском петь какую-нибудь украинскую песню...

– Ну вот. Спасибо, что пришли. А теперь уж оставьте меня с самим собой. Вот, Семен Яковлевич, небось, по вас соскучился.

Плотный и косолапый, Семен Яковлевич Бояринов, был, кажется, из донских казаков. Человек уже не молодой. Еще до революции окончил фельдшерскую школу. После революции – рабфак, медицинский институт, курсы усовершенствования врачей и должность районного врача где-то в Черниговщине.

Вот он, наследник старых русских врачей!..

Семен Яковлевич ко мне привязался. Трудно сказать, почему. Я, как и в Саксенхаузене, не скрывал своего эмигрантского прошлого и своих взглядов. Семена Яковлевича, впрочем, эти взгляды мало

интересовали. Всякая политическая мысль была ему чужда. Люди для него существовали только как пациенты. Он вспоминал одного из своих друзей, другого, третьего, и всегда добавлял: вот Митя жаловался на печень, вот Владимир Павлович, хороший был человек, – я его лечил от последствий брюшного тифа, а вот был у меня друг, старший бухгалтер, у него, помню, с почками было что-то не в порядке... Даже рассказывая про свою жену, прибавил: а у Аннушки я заметил признаки белокровия...

Этот человек охотно коротал со мной вечера, и вместе с ним я уплывал в районную больницу, в канцелярскую суету опроса больных, в тайны интересных клинических случаев...

Но однажды у него вырвалось:

– Вот вы мне рассказывали про жизнь за границей. Конечно, я многим обязан революции. Без нее остаться бы мне фельдшером на веки вечные. А, все же, многое у нас было нехорошо. Если жить так, как я жил: только чужими болячками, то можно было жить. Но посмотреть со стороны – мизерное жалование, постоянные вычеты, – концы с концами едва сводишь; и участие в никому не нужных проработках, заседаниях, резолюциях... К чему все это? А в селах – вечные трудодни, вечная бедность... Нет, наша жизнь была не из легких!..

Это было единственное „обобщение" всей его жизни, в котором он мне признался. И мысль его, кажется, не искала никакого выхода. Выход для него был простым: операции в области двенадцатиперстной кишки, новый метод лечения сахарной болезни, случай с пациентом, у которого рожистое воспаление лица перекинулось в полость рта...

Дмитрий Варфоломеевич, в прошлом – военно-морской врач Балтийского флота, – что называется, „душа-человек". Оживленный, жизнерадостный, восторженный, он носился по палате от одного больного к другому, для каждого находя ласковое слово.

Его рассуждения просты.

– Я защищал Родину, а не правительство. И буду защищать ее до конца, даже в этом концлагере. Были непорядки, было многое плохо, но сейчас не время об этом говорить. Сейчас мы должны помнить только о хорошем.

И об этом „хорошем" – о службе во флоте, о плавании в Арктике, об участии в боях при озере Хасан, он рассказывал долго и охотно.

Когда я сейчас вспоминаю о Дмитрии Варфоломеевиче, мне всегда становится немного грустно. Если он жив сейчас, то так же ли он, как и тогда, видит только хорошее?.. Откровенно говоря, сомневаюсь я в том, что он по-прежнему служит на флоте...

Прокоп Федорович, Семен Яковлевич, Дмитрий Варфоломеевич... Они что-то не договаривали...

По-своему гораздо последовательнее и логичнее из всех был Жорка – дюжий парень атлетического сложения (кажется, он работал прежде в цирке), сказавший как-то, без всякого повода с моей стороны:

– Знаешь, я думаю, что в России после войны многое должно пойти по-другому. Советская система пусть остается. Она – самая передовая. Но большевизма быть не может.

– Чем же плох большевизм?

– Будто не знаешь, чем? Думаешь, у нас мало колючей проволоки?

Спали мы (неслыханная роскошь) на каждой койке по одному. Соседом моим был, разумеется, Григорий Григорьевич. На работе он тоже был моим соседом. Он заметно поправился, окреп. Оказалось, что он вовсе не такой старик, каким мне казался, пока был слабым. Ему было за сорок лет.

Вечером нас разводили по баракам и запирали двери на ключ.

Барак был разношерстным. Кого-кого тут только не было. Иногда вспыхивали драки, но большей частью жили мирно. Краж (и это в концлагере редкость) почти не было: никто не голодал.

Каждый вечер я на всех известных мне языках говорил жителям барака новости с фронта.

– Для меня эти новости, как вино. Я чувствую себя пьяным, когда их слушаю, – признался мне Паукевич – шестнадцатилетний мальчик из Варшавы, единственный сын у матери.

На Западе пал Аахен и союзники топтались около Кельна. С воздуха громили немецкие города. На Востоке шли бои за Будапешт, шли бои в Югославии, в Греции, в Италии...

На обрывке бумаги я, по памяти, вычерчивал карты, чтобы на другой день передать их друзьям в другие бараки.

Мысль о том, что попадись я, меня бы за это не похвалили, пришла мне в голову только сейчас, когда я пишу эти строки. Тогда эти новости пьянили предвестием свободы, кружили голову, и хотелось каждую новость рассказать каждому, каждому, каждому...

Немецкий народ для меня загадка. Не будь наших „тюремщиков" – пожилых добродушных лю-

дей в сине-зеленых мундирах, я думал бы, что он поголовно состоит либо из бездушных автоматов, либо из закаленных садистов.

Теперь мне ясно: маленькие сине-зеленые винтики страшной машины нас жалели и, как могли, щадили.

Но почему это было только в Зеештадтле? Почему это был единственный оазис на всю Германию (ни о чем подобном мне ни от кого никогда не приходилось слышать), да и тот просуществовал всего полтора месяца?

Немецкая жестокость вошла в поговорку. Но, очевидно, не все в этом народе – потомки бранденбургских истребителей славян, разбойничьих полчищ Тилли или Валленштейна, не все в этом народе „сверхчеловеки". Есть в нем, очевидно, и живые люди. Может быть, их не так уж много, но они все-таки есть.

Где-то высоко-высоко на „лестнице ценностей" парит в безмятежном спокойствии величавый „олимпиец" Гёте. Там же, проплывая меж звездами, уходят в вечность звуки Моцарта, Глюка, Бетховена и носится непонятный в своей огромности дух – мысль Канта.

А на той же самой лестнице, только на нижних ее ступенях – знакомые сине-зеленые очертания и отрывистый грубоватый голос:

– Если и сегодня эти чертовы фирмы не дадут людям установленного пайка, я приказываю коммандофюрерам прекратить работы и вернуть команды в лагерь. Сперва нужно дать людям жрать („Fressen"), а затем уже требовать от них работы.

Конечно, он не знает, что такое категорический императив, конечно,ему неизвестны понятие этиче-

ской нормы и автономное доказательство бытия Божия. Если бы его спросили, кто такой Вагнер, он, может быть, ответил бы, что так звали рядового в третьем взводе его роты.

Но не почитатели ли Канта, не ценители ли Вагнера, послали нас сюда? И, посылая, не ссылались ли на священную миссию защиты духовных ценностей?

А он, маленький человечек, наперекор Гегелю, каким-то нутром, должно быть, чувствует: не все „действительное" – „разумно".

Припоминаю еще одно его распоряжение:

– Запрещается, под угрозой наказания и снятия с работы, рассказывать кому бы то ни было из лиц вне лагеря, а, в частности, гражданским мастерам, как вас здесь кормят.

Дело в том, что, благодаря хорошему основному и добавочным пайкам, мы не только не голодали, но и поправились, и заметно поправились. Кое-кому это могло не понравиться.

Незадолго до нашего расформирования комендант обходил бараки. Спрашивал, довольны ли едой. Тот, кто побывал за колючей проволокой, оценит всю невероятность такого вопроса. Еще более невероятен был ответ:

– Мы всем довольны. Вы делаете для нас все, что можете. Спасибо.

Должно быть, с центром управления во Флоссенбурге велись какие-то переговоры: комендант уезжал туда, возвращался, потом снова уезжал.

Говорили, что лагерь хотят закрыть, и что комендант доказывает перед власть имущими необходимость его существования.

Комендант успокаивал:

– Не бойтесь. Нас не закроют. Я получил определенные обещания.

И вдруг... Все кончилось.

Распоряжение: погрузиться и ехать во Флоссенбург. В тот самый Флоссенбург, при одном упоминании о котором по телу бегали мурашки.

На железнодорожный путь, что идет вдоль проволоки, пришел товарный состав.

„По пятеркам разобраться! Живо!"

VII. ФЛОССЕНБУРГ

Припекает солнце бабьего лета. Выстроенные „по пяти", шаркая тяжелыми башмаками, мы медленно поднимаемся по крутой улочке. Григорий Григорьевич идет с моей левой стороны, Казимир Фаддеевич с правой.

Мы тащимся вверх, проходя мимо чистеньких домиков не то городка, не то поселка.

Вот церковь. Перед ней – большое каменное католическое Распятие. Изваяние Христа выкрашено в темно-коричневую, выцветшую от времени, краску. Капли крови на лике стали из красных серо-розовыми.

Находящиеся среди нас поляки, итальянцы и, отчасти, французы обнажают головы. Смотрю – Григорий Григорьевич снял шапку и перекрестился.

„Лейтенант Красной армии?.. Дитя атеистического государства?.. – мелькает у меня в голове, – или просто русский человек, такой же, какими были поколения его предков?"

У церкви столпилась детвора и с ней – две монашки в черных хламидах и с белыми крыльями на

голове. Дети на нас смотрят равнодушно: они привыкли к таким вереницам. Я посмотрел на лица монахинь: в их взглядах – скорбное спокойствие. С такими лицами провожают случайно встретившиеся похороны неизвестного,чужого человека.

Мы подходим к воротам в бесконечно-длинной, выкрашенной в светлозеленую краску стене.

Посмотреть издали на эту стену – создается впечатление средневековой крепости: на равном расстоянии эта стена прерывается башнями.

Над воротами башня побольше и повыше, с часами под крышей.

Все, как в Саксенхаузене.

На нас глядит надпись:

„Schutzhaftlager Flossenburg"

И пониже:

„Arbeit macht frei"

– Гады! Я вам покажу, сволочи! Вы у меня запомните Флоссенбург! Ну, живо! Ты чего глаза пялишь?

Хляс! Хляс!

Старик-француз рядом со мной падает от удара железным прутом на пол.

Мы находимся в бане, куда нас погнали вечером после бесконечного стояния во дворе изоляционного барака. Стоим голые. Окна открыты, продувает ветер.

Банщик – какой-то русский. У него лицо профессионального преступника. В его руках – железный прут. В глазах – ярость животного.

– Ну, пошевеливайся! Живо! Марш под душ! Как там... зофорт! Я вам покажу, гады!

Хляс! Хляс!

Нас обдают то почти кипятком, то ледяной водой. Это продолжается около получаса.

Двор изоляционного барака. Уже стало известно: во Флоссенбурге мы долго не задержимся. Ждем очередного этапа.

С утра нас выгоняют во двор и держат на нем вплоть до вечера. По утрам холодно: лагерь расположен на вершине горы. С одной стороны двор примыкает к обрыву. Отсюда видно лесистое ущелье, лиловые очертания далеких гор. Но даже этот обрыв, по которому и спуститься нельзя, обнесен колючей проволокой.

Чтобы не промерзнуть, мы сбиваемся в кучки, прижимаемся друг к другу и греем один другого.

Рядом с нами, через колючую проволоку – двор другого изоляционного барака. По нему слоняются взад и вперед люди-привидения. Тощие, какие-то не бледные, а серые, с потухшими глазами. По временам то один, то другой падают и остаются лежать. Вечером их подбирают и уносят.

Это – умирающие. На работу их уже не гонят. Говорят, госпиталь здесь оборудован по „последнему слову техники", полы выстланы линолеумом, ослепительно белые простыни и на окошках цветы; уход не уступает уходу в лучших больницах. Но туда попасть почти невозможно. На сто кроватей – несколько тысяч кандидатов. Ждать очереди – месяцы. Дождешься – твое счастье. Не дождешься – слоняйся по этому дворику, пока не упадешь и тебя не вынесут.

У проволоки толпятся люди и протягивают нам через проволоку руки. В руках... хлеб. Они предлагают нам хлеб. Они!

Это – чахоточные. Они уже почти ничего не едят. Они хотят только одного – курить. Они выменивают хлеб на табак.

Кое-кто из толпы по эту сторону, озираясь по сторонам (за это жестоко били свои же) подходит к проволоке и начинает вороватый торг.

Умирающий протягивает хлеб и получает горсточку табаку.

По утрам мы греемся в кучках, потом начинается бесконечное хождение.

В первый день блокман – высокий блондин-люксембуржец обратился к нам, выстроенным для этого во дворе, с краткой речью.

– Вы сюда приехали из разных лагерей. Забудьте тамошние порядки. Вы находитесь во Флоссенбурге. Тому, кто будет подчиняться правилам, – ничего не грозит. Но тот, кто, хотя бы и в ничтожной степени их нарушит, поплатится жестоко. Если кто ночью вышел из барака по своей надобности и не окликнул перед этим часового – будет им застрелен, как пытавшийся бежать. Если кто во время воздушной тревоги не успел добежать до барака – будет застрелен, как пытавшийся использовать ее для бегства. Всякое неповиновение, всякое неисполнение распоряжений начальства рассматривается как бунт и влечет за собой расстрел на месте. Если кто-нибудь будет замечен в краже хлеба – я с ним посчитаюсь так, что он не встанет.

– Скажите, как вы совмещаете веру в Бога с тем, что вы видите и слышите, с тем, что вы переживаете сами?

Этот вопрос я задаю молодому французскому священнику, худому, высокому, с птичьим носом, украшенным пенсне, гуляющему рядом со мной.

Птицеобразный юноша поджимает тонкие губы и с минуту молчит. Потом начинает говорить, и в его голосе слышится какая-то победная уверенность – полный контраст с рваной курткой, короткими, выше щиколотки, штанами с бахромой и голыми ногами, вдетыми в огромные башмаки.

– Бог сотворил людей по своему образу и подобию. Это значит, что Он их наделил и свободной волей, ибо Бог есть свобода. „Дух дышит, где хочет", говорится в Евангелии. Создание мира – акт творчества, но не принуждения. Стремление человека к добру, приближение его к Богу должно быть свободным, ибо в противном случае утрачивается самоценность добра. Отклонения от пути к добру происходят от несовершенства человека, но эти же отклонения ведут за собой и испытание человека. Преодоление этих испытаний – путь к Богу. Война, разрушения, пытки, концлагеря – зло. Но в этом зле – залог для развития в нас самых высоких и хороших качеств, которые в мирной обстановке, может быть, и не обнаружились бы. На войне жертвуют жизнью за ближнего. Здесь, помогая друг другу, мы воспитываем в себе чувство братства... Нет, лишь с нашей земной точки зрения, война и концлагеря – зло! Но в плане вечности – это не больше, чем испытания, служащие для приближения нас к Богу.

Так мы, гуляя, разговаривали, а в воздухе плавал сладковатый дымок и попахивало горелым мясом. Позади двора высилась труба крематория.

Воскресенье. В воскресенье ворота изоляционного пространства открываются и нам можно ходить по всему лагерю.

Рассматривать, в сущности, нечего. Те же зеленые бараки, что и в Саксенхаузене, те же обязательные цветники и клумбочки, дорожки, посыпанные песочком...

По фронталу бараков, выходящих на„аппельплац" тянется аршинными белыми буквами надпись. По-русски она звучит так:

„Есть только одна дорога к свободе. Ее вехи: послушание, честность, трудолюбие, чистота и любовь к Родине".

И всюду стелется этот вечный сладковатый запах.

Вокруг одного барака, стоящего позади других, разбит садик. Садик обнесен решетчатым забором. По забору тянется колючая проволока. Из окон барака выглядывают... накрашенные и напудренные женские лица.

Право входа в этот барак имеют лишь блокманы и капо немецкой крови. Они платят за это две марки концлагерными купонами.

Я присматриваюсь к гуляющим по „аппель-плацу". Худые безрадостные пожелтевшие лица. В Саксенхаузене я еще видел кое-когда улыбки. Здесь их что-то незаметно. Вот гуляет группа русских. Но кроме красного треугольника, буквы „R" и номера, на них написана еще одна буква „О".

Знакомлюсь с ними. Буквой „О" обозначаются офицеры.

– Ну, как же с вами обращаются? Лучше, чем с другими?

– Вот как лучше! – усмехается один из них, показывая шрамы на голове. – Нас сюда отправили, чтобы мы отсюда не вышли. Еще четыре месяца назад нас было сорок шесть человек. Теперь осталось двенадцать.

Недалеко от барака, окруженного садиком, разбита большая брезентовая палатка. По воскресеньям сюда притаскивается пианино, приходят лагерные музыканты, и дается концерт. Здесь исполняется музыка, которую в других местах Германии не услышишь.

Оркестр играет Andante из 6-й „патетической" симфонии Чайковского.

Чайковский, как и все русские композиторы, в Германии запрещен.

Вокруг слоняются, понуря головы, граждане „Новой Европы".

А в пятнадцати шагах, за колючей проволокой, там, откуда не выпускают даже по воскресеньям, бродят тени-люди, протягивают через проволоку руки и на всех европейских языках просят одного:

– Покурить!

Музыканты ушли. Пианино осталось. Я подхожу к нему и пробую клавиши. Пальцы одеревенели и плохо слушаются.

– Ты что, умеешь играть?

– Немного. Но боюсь, что теперь не выйдет.

– Выйдет! Сыграй! Сыграй что-нибудь наше.

Меня обступают парни и вопросительными жадными глазами смотрят на меня и на пианино.

– Но здесь даже стула нет. И стул унесен.

– Ничего. Вот я стану на одно колено, а ты уж как-нибудь сядь.

Кое-как пристраиваюсь.

– А тебе не тяжело?

– Ничего. Играй! Играй!

И я им играю. Они подпевают. Вокруг меня уже целая толпа. Для них это событие.

...Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали.
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от нашей земли...

Пальцы „разминаются". Я прошелся по клавиатуре быстрым arpeggio:

...Так вспомним же юность свою боевую,
Так выпьем за наши дела,
За нашу страну, за Каховку родную,
Где девушка наша жила...

Я им играл что-то около часу. Уставал один подставлять мне колено – его сменял другой. Я кончил лишь, когда пришли унести пианино.

Парни меня уговаривали:

– Слушай, оставайся у нас. Можно изловчиться и не попасть на этап. А здесь мы о тебе позаботимся. В оркестре будешь играть. Мы просить за тебя капельмейстера будем...

Почему никуда не уйти от этого сладковатого запаха?..

На четвертый день нашей флоссенбургской жизни нас выстроили и разбили на четыре группы. Мне выпал жребий ехать в Герсбрук. Со мною же оказался Григорий Григорьевич. С Казимиром Фаддеевичем и Морисом Ренн мы расстались навсегда.

А уже перед самым отъездом меня вызвали неожиданно в писарскую. На мое имя пришла посылка.

Трудно передать, что я пережил, получив эту новость.

Много ли можно послать в посылке? Теплое белье, несколько яблок, хлеб, папиросы...

Но важно не это. Важно другое. „Там", на свободе, кто-то обо мне думает. Имя и фамилию отправителя я никогда раньше не слыхал. Значит – после ареста моих ближайших друзей остались еще друзья, мне лично не известные.

Если думают и заботятся обо мне, значит так же думают, так же заботятся и о других. По всей Германии шли аресты, свыше ста человек лишь в четырех городах арестовано, но... всех не переарестуешь. А те, кто заботится обо мне, лично с ним незнакомом, очевидно знают, кто я и за что сюда попал...

Держа посылку в руках, я едва успеваю стать в строй, рядом с Григорием Григорьевичем.

– Ну, Григорий Григорьевич, теперь мы заживем! Всю дорогу курить будем. Слушайте: у меня на воле есть друзья. Они обо мне не забыли...

Проходя через ворота, снимаем шапки, отдавая честь эсесовскому начальству.

– Mützen... auf!

Флоссенбург остался позади.

VIII. ГЕРСБРУК

Герсбрук – маленький средневековый городок в двадцати пяти километрах от Нюрнберга. На окраине этого городка, еще со времен баварских королей, стоит большая казарма. За казармой, до войны, был, кажется, рассадник лесных пород. Во время

войны деревца вырубили и обнесли топкую мшистую почву колючей проволокой.

В двенадцати километрах от Герсбрука расположено селение Гаппург. А еще с километр дальше начинается долина. Склоны долины покрыты лесом.

В мае 1944 года в Герсбрук была выгружена за колючую проволоку первая партия людей в полосатых одеждах.

И тогда же эти люди, с утра угонявшиеся на работу в Гаппург, начали в долине рубить лес и рыть землю. Оборонявшаяся от налетов с воздуха „Новая Европа" уходила под землю: по всей Германии росли подземные фабрики оружия. Местом одной из таких фабрик и был выбран Гаппург, а местом размещения дешевой рабочей силы – Герсбрук.

Так возникла „рабочая команда Герсбрук", за неполный год своего существования уничтожившая не меньше шести тысяч человек.

Шесть тысяч... Небольшая цифра, если принять во внимание общее число жертв войны и диктатуры. Но в лагере было всего три тысячи человек. Каждый месяц в нем умирало, в среднем, восемьсот человек. Каждый месяц центральный лагерь – Флоссенбург присылал сюда свежий человеческий материал, взамен израсходованного.

Каждый день в этом маленьком лагере к вечеру было около двадцати пяти трупов. Людей, не скончавшихся „непостыдной и мирной" кончиной, не павших в честном бою, но опозоренных и замученных.

В число шести тысяч я включаю только тех, кого сожгли в герсбрукском крематории. Раз в два месяца приходил из Флоссенбурга товарный состав и забирал с собой „доходяг". Слонявшиеся весь день,

подобно теням Аида во дворике карантинного барака во Флоссенбурге „доходяги" тут же, на этом дворике отдавали, в конце концов, свои души Богу.

– Там – безумие, – сказал мне „блокшрайбер" – француз во Флоссенбурге, когда я поинтересовался, что творится в Герсбруке.

Лагерь Герсбрук, как и прочие, разделялся на „команды". Их было много: что-то около пятнадцати. Я перечислю главнейшие.

Команда „Поммельсбрунн". Ее задача – земляные работы около станции того же названия. Работы заключались преимущественно в рытье канав и ложбин для железнодорожных путей. Работали по колено в воде. Рабочее время – десять часов. Эта команда давала наибольшее количество смертных случаев.

Команда „Штолленбау". Вела подземные работы: рыла штольни. Работала в три смены по восемь часов. Считалась лучшей из всех команд, – работа под землей спасала от замерзания в снегу, рабочее время было короче, и (это, пожалуй, главное), работавшие получали небольшой дополнительный паек.

Команда „Штэр ам Штоль". Работала в три смены по восемь часов около штолен. Привилегией усиленного пайка не пользовалась.

Команда „Штэр". Работала на земляных работах около штолен. Рабочий день – десять часов.

Я привожу эти главнейшие команды потому, что вся внутренняя жизнь лагеря, а, следовательно, и жизнь заключенных, сводящаяся, в лагерных условиях к вопросу... (вы уже догадываетесь, к какому вопросу!) приноравливалась к работам команд.

Здесь не труд существовал для человека, а человек для труда.

Если вы попали в Герсбрук и если вас определили (о том, как это делалось, – позднее), скажем, в команду „Поммельсбрунн", то будьте готовы к тому, что через два месяца вы станете кандидатом в крематорий.

Если же вам повезло, и вы идете работать в штольни, то следите лишь за тем, чтобы вас не избили на работе или в бараке. У вас есть шансы выжить. При условии, разумеется, что вы проявите достаточную расторопность и сумеете обзавестись более или менее сносными ботинками, второй парой портянок и некоторым подобием зимней куртки (что было очень нелегко), и еще при условии, что состояние вашего здоровья позволяет вам выдержать рабочий режим. Если эти условия не соблюдены – готовьтесь к худшему.

В лагере нет определенного, для всех обязательного, расписания жизни. Семнадцать бараков распределены по командам. Команды распределены по фирмам. Каждая команда зависит от определенной строительной фирмы, которой она продана. Команды, работающие только одну смену, начинают свой день подъемом в четыре часа утра. В половине пятого из выгоняют на „аппель-плац", затем на дощатый перрон около железнодорожного полотна, где они ждут поезда. Поезд их берет, сгружая затем на другой дощатый перрон, около Гаппурга. Три километра маршировки и – работа. Работа до пяти вечера с получасовым перерывом на обед. В пять часов – маршировка до дощатого перрона. Затем ожидание поезда, который редко приходит раньше семи. К восьми вечера – возвращение в лагерь. После это-

го – поверка, длящаяся, примерно, с час. В девять – отбой. В десять – тишина. Итого на ногах – шестнадцать часов. Из них – десять часов работы, шесть часов – на ходьбу, ожидание поезда и поверки.

Работающие в три смены имеют цикл, зависящий от того, какая смена когда работает. Одну неделю люди спят ночью, а работают днем, другую неделю – спят днем, работают ночью, третью неделю – спят полночи и полдня и работают полночи и полдня.

Как я уже сказал, команды проданы фирмам. Заработную плату получает эсесовское начальство. Она идет по какому-то государственному счету. Заключенные получают „концлагерные деньги". Средняя плата чернорабочего – две марки в неделю. Капо получает от шести до десяти марок. На эти деньги можно купить в кантине (ларьке) порошок для присыпания ног, зубной порошок и искусственный перец. Раз в месяц – пачку махорки и пачку польских папирос.

В лагере невылазная грязь. В образцовых „санаториях" Саксенхаузена или Дахау замощена каждая дорожка. Здесь ноги тонут в вязкой глине. В умывалке хронически нет воды. Впрочем, и умываться некогда. Забитые, примитивные уборные – рассадник дизентерии. В „санаториях" существовала „лестница наказаний". Экзекуция производилась лишь по постановлению соответствующей инстанции: „спорт" и резиновые палки присуждались в писарской, виселица – в канцелярии Гиммлера. Здесь произвол. Блокман, капо, любой из „власть имущих" может в любой момент отправить человека на тот свет, а затем пройти в свою комнату и доесть свой завтрак. Зато и не так следят за мелочами. Мо-

жет быть оторван номер на куртке или брюках, можно закурить в бараке – никому до этого нет дела. Здесь интересуются работой и только работой. Избивают (именно, не бьют, а избивают) либо „здорово живешь", либо за провинности, связанные с работой, либо за воровство.

Каждый вновь прибывший этап людей выстраивают на „аппель-плаце" и разбивают по баракам. Вдоль строя ходят блокманы и отсчитывают нужное количество людей. Это – лотерея жизни и смерти.

Попасть в 16-й или 17-й блоки приблизительно то же, что стать смертником. Это холодный, сложенный из цементных плит, двухэтажный барак. Каждый этаж занят блоком. Оба блокмана – немец Альфонс в нижнем этаже и чех Карл в верхнем – профессиональные убийцы. Рабочая команда – „Поммельсбрунн".

Попасть в блоки 1 и 2 – значит пойти на работу в штольни. Блокманы бьют жестоко, но „за дело". Седьмой барак – предел счастья. Здесь живут работники кухонь: лагерной и эсесовской. Но в него попасть почти невозможно.

В предыдущих главах я иногда касался политических настроений среди заключенных, споров среди них, их духовных запросов. Не будь больницы, в Герсбруке для этих тем не нашлось бы любителей. Если лагерь подчинял человека труду, то для самого человека вся его лагерная жизнь сводилась к одному: как бы не попасть в крематорий. А в крематорий он мог попасть в любой момент. Да и не было времени для долгих разговоров. Приходя с работы,

люди валились с ног от усталости, а на другой день отправлялись на работу, систематически не досыпая. Постепенно человек превращался в „доходягу". Этот специфически-концлагерный термин я постараюсь объяснить.

„Доходяга" или „мусульман" (почему? Бог весть) это живой скелет, обтянутый желтой кожей. У него глубоко-запавшие, лихорадочно-блестящие глаза, бескровные губы, руки и ноги – как жерди. На нем рваная полосатая одежда. На ногах ботинки из брезента на деревянной подошве. Ботинки обвязаны проволокой, так как материя во многих местах отстала от подошвы...

„Доходяга" ходит медленно, опустив голову. Но глаза его постоянно что-то высматривают. Вот он нагибается и поднимает что-то с земли. Это „что-то" – предмет, который можно съесть. Гнилая картофелина, листок капусты, промасленная бумага.

„Доходяга" думает категориями еды. Весь мир ему представляется, как совокупность съестного. (Да простит мне читатель философско-гастрономическую терминологию.) В концлагере плохо оттого, что мало супа и хлеба. На свободе хорошо, потому что можно пойти в ресторан и заказать обед. Но если пробраться под кухню и порыться, как следует, в помойной яме (так, чтобы не увидели, не избили и не прогнали) то, пожалуй, еще можно как-то возместить свободу.

На работе „доходяги" – всеобщая мишень: для капо, для гражданских мастеров, для эсесовца-„командофюрера". (Одна хорошая особенность лагеря Герсбрук заключалась в том, что простые конвойные не были эсесовцами. Это были либо „фольксштюрмеры", либо „добровольцы" из числа литовцев

и галичан. Они не били. С ними отношения у нас были, как правило, самые дружественные.)

В конце концов, „мусульман” „доходит”. Либо он падает на работе, либо заболевает дизентерией, либо получает флегмону. Его следующий этап – больница. Но это лишь этап. Конечное пристанище – крематорий.

Не каждый живой скелет обязательно становится „доходягой”. Нужно постоянно бороться с возрастающим чувством голода, нужно до последнего предела уметь держать себя в руках, чего бы это ни стоило, не отставать от работы, или увиливать от нее так, чтобы это не бросалось в глаза. Нельзя рыться в помойной яме, нельзя подбирать с земли всякую дрянь, как бы ни мучил голод. Только таким постоянным волевым напряжением можно не только сохранить в себе силы, но и развить их. И тогда не так страшны ни дизентерия, ни обморок на работе. Дух, в конечном счете, сильней тела. Человек, попадающий в больницу не сломленным духовно, может и не последовать в крематорий. Сломленный же последует обязательно.

Я видел „доходяг”, но я видел и живых скелетов – не „доходяг”. Вторые выживали. Первые – никогда.

Единственное привилегированное сословие в концлагере, сохранившее человеческий облик (потому что капо и блокманы в счет не идут), это врачи.

Но что они могут поделать при почти полном отсутствии медицинских пособий, при невероятной грязи, при вшах, ползающих стадами по одеялам, что они могут поделать в „ревире” (палате), где

больные лежат по двое, а то и по трое на кровати, где „ревир-капо" жестоко, иной раз до смерти, избивает больных, а „роттенфюрер" – какой-то молодой эсесовец, выдающий себя за студента медицины и получивший в свое ведение поэтому больницу, избивает старых врачей?

Как это ни странным покажется на первый взгляд, лагерный паек никак нельзя назвать голодным. Заключенные получают утром либо горячий эрзац-кофе, либо гороховую похлебку и 200 граммов хлеба. В полдень – литр густого супа или каши с мясом, и вечером 300 граммов хлеба с ломтиком маргарина и попеременно: колбасу, творог, мармелад. И, тем не менее, люди таяли на глазах. Убивала работа, убивали шестнадцать часов на ногах, убивало вечное недосыпание, убивал холод, убивала грязь. Все это, вместе взятое, приводило к истощению организама. И тогда тут как тут: болезни, воспаленные раны и подстерегающая угроза смертельного удара со стороны блокмана или капо.

Я попал в Герсбрук из Флоссенбурга, после трехдневного там пребывания. Весь наш этап выстроили и затем разделили на четыре части. Одну часть (в том числе меня и Григория Григорьевича отправили в Герсбрук. Вторую – в Лайбнериц. (Известно ли это имя? Уже будучи в Дахау, я встретился с людьми оттуда. Описывать Лайбнериц все равно, что описывать Герсбрук.) Третья часть поехала в Цвиттау, четвертая часть осталась во Флоссенбурге.

Я провел в Герсбруке немногим больше полугода, с середины октября 1944 года по апрель 1945 года, когда началась эвакуация лагеря в Дахау.

За эти полгода я работал в команде „Штэр". Затем заболел дизентерией. Выздоровел. Посчастливилось попасть в лучшую „восьмичасовую" команду „Штэр ам Штоль". Замерз на работе. В госпитале, после долгого оттирания, привел меня в себя знакомый русский врач. Отлеживаясь, снова заболел дизентерией. Чудом, но выздоровел. Стал благодаря покровительству врачей: одного – француза и другого – русского, работать на должности писаря в отделении для дизентериков. Заболел сыпным тифом. Был отправлен в сыпнотифозный барак. Оттуда немногие выходили. Я вышел. Как только что перенесший сыпной тиф, был отправлен поездом (а не пешком) в Дахау, где приход американцев застал меня больным воспалением легких.

Кандидатом в крематорий я был, таким образом, чуть ли не с первого дня моего приезда в Герсбрук. Но, касаясь иной раз своих личных переживаний, я имею в виду не столько рассказ о себе, сколько рассказ о тех и за тех, кто уже не может никому ничего рассказать.

Пусть читатель такие строки примет, как рассказ ‚живого смертника", лишь по какому-то необъяснимому стечению обстоятельств не оказавшемуся в числе тех шести тысяч, чей пепел сейчас разбросан где-то по вязкой герсбрукской глине.

IX. ЕЩЕ ОДИН ИЗ ДНЕЙ

На „аппель-плаце" нас выстроили, рассчитали и развели по баракам. Я расстался с Григорием Григорьевичем.

Мой барак – № 2. Люди, живущие в нем, приписаны к команде „Штолленбау". Это значит, что они работают по сменам: одни спят днем, другие ночью, третьи – полночи.

Мы, вновь прибывшие, в эту команду „подземных кротов", однако, не попали. Наша команда „Штэр" работала только днем, в одну смену, по десять часов.

Это значило, что нам предстояло быть не четырнадцать, а шестнадцать часов на ногах.

Сразу же после нашего приезда в барак явился зубной врач – итальянец (конечно, тоже в полосатой одежде), осмотрел каждому зубы и тут же вырвал порченные. Человека не должна освобождать от работы зубная боль.

– Los! Aufstehen!*

По бараку носится блокман с резиновой палкой. Горе тому, кто замедлит вскочить, как ошпаренный.

– Los! Los!

– Los! Los!

Плохая уборка постели влечет за собой пять ударов.

Все нужно делать быстро: быстро постелить постель, быстро стать в очередь, быстро проглотить тепловатый эрзац-кофе или жидкую гороховую похлебку, быстро построиться в бараке перед уходом на „аппель-плац".

Блокман и его откормленные помощники – „полицаи" – осматривают выстроившихся: не обмотался ли кто-нибудь под одеждой одеялом, не подло-

---

* Подъем!

жил ли, чтобы не промокнуть, толстой бумаги или картона. Все это строго-настрого запрещено.

Встает и уходит лишь одна треть барака. Две трети спят, ожидая очереди.

Я смотрю на выстроившихся. Бледные лица. В волосах, на лице, на руках – глина. Все они запачканы ею с ног до головы, кажется, что сами люди сделаны из глины. Переговариваются вполголоса на всех языках. Здесь и югославяне, и итальянцы, и французы, и поляки и наши – русские.

– Marsch!

На дворе ночь. Под ногами хлюпает жидкое месиво, ноги погружаются в месиво, натыкаются на глинистый грунт и вязнут. С каждым шагом ногу приходится отдирать. Спотыкаясь и подталкивая друг друга, выходим на „аппель-плац".

Здесь расходимся, каждый к своей команде.

Нас обходят, пересчитывают, выравнивают обер-капо и капо с фонарями в руках.

За оградой – трехэтажное здание казармы имени Прусского Короля. В ней живет наша охрана. Вот она выстроилась. Щелкнули затворы заряжаемых ружей...

На земле лежит человек. Как теперь вижу его лицо. Он в очках, с каким-то вязаным капюшоном на голове. Он лежит в грязи, потягивается и (как мне показалось), сладко зевает.

– Willst du aufstehen?*

Обер-капо ударил его сапогом.

Никакого ответа.

Посыпались удары чем попало и куда попало.

Человек продолжал лежать, потягиваясь и „слад-

* Встанешь ты!?

ко" зевая. Так его, кажется, и оставили зевающим в этой грязи...

— Im Gleichschritt marsch!*

Проходя через ворота, обязательно снимаем шапки.

Мы — на дощатом перроне. Перед нами — рельсы. Это магистраль, связывающая Нюрнберг с Берлином. Магистраль живет лихорадочно-торопливой жизнью. Примерно каждые десять минут проносятся мимо нас товарные, пассажирские, скорые поезда. Много платформ груженых танками, орудиями, какими-то неуклюжими рефлекторами... Все это несется куда-то на фронт.

Моросит дождь. Мы дышим в иззябшие руки и ждем, ждем...

Пыхтя и замедляя ход, ползет наш поезд. „Поезд смерти", как его зовут в лагере. Некоторые мелочи запоминаются на всю жизнь. Часы на башне в Саксенхаузене „тогда" показывали без восьми минут три. Номер паровоза — 54 782.

Короткая давка и мы едем. Шесть часов утра. Вокруг — непроглядная ноябрьская темень.

Нас вновь выгружают на дощатый перрон, и мы маршируем по мягкой грязи через селение Гаппург.

Село кишит людьми, несмотря на ранний час. Ряд домов в нем реквизирован на военные нужды. На каждом шагу попадаются понаехавшие сюда со всех сторон Германии: инженеры в кожаных пальто и добротных, как копыта у битюгов, лыжных башма-

---

* Шагом марш!

ках, с упитанными портфелями под мышкой; подтянутые и сухощавые эсесовские офицеры, на чьих лицах ничего, кроме великолепия, не разберешь, и чьи руки, кажется, только и созданы для того, чтобы носить перчатки и помахивать стэком; горняки-штейгеры, говорящие на никому не понятном баварском языке, в теплых куртках, шляпах, напоминающих полуцилиндры, в сапогах с отворотами... все это движется, обгоняет друг друга, плетется на работу или мчится домой с ночной работы.

Около ворот одного из домов лежит полкочана капусты. С непостижимой быстротой кто-то выпрыгивает из рядов, цапает капусту и, прежде, чем накинется на него с кулаками капо, прячется со своей находкой в однообразные глиняные ряды. Попробуй найди его теперь!

О! Он нелегко расстанется со своим сокровищем! Тихо, так, чтобы не расслышал капо, он будет его жевать листик по листику, наслаждаясь тем, что хоть что-то есть у него во рту. Нужды нет, что ему обеспечена дизентерия, что через неделю-другую его, голого и окоченевшего, взвалят, как падаль, на грузовик и повезут в крематорий. Важно, что сейчас, именно сейчас он может двигать челюстями, смачивать слюной промерзлые кисло-сладкие листики. Голод, проклятый голод мучает с утра,

Мы проходим через село. Светает. Кое-где встали и толстые желтоволосые крестьянки.

Работаем за селом, там, где начинается долина. В склоне долины, как огромные норы, чернеют отверстия штолен. Из них ведут рельсовые пути; люди, сделанные из глины, выталкивают вагонетки, груженные землей. Они работали всю ночь и сейчас от-

правляются в лагерь. Смена им пришла вместе с нами.

Нас разводят по местам, дают лопаты, кирки... После двух часов стояния и маршировки нет и пяти минут отдыха.

– Los! Los!

Мише Кондратьеву двадцать четыре года. Где-то на Урале он кончил горный техникум, готовился поступить в институт... В нем должно быть недаром бьется таежное сердце: упрям, замкнут, нелюдим. Отец репрессирован в 1937 году и, может быть, тоже вот такой же киркой долбит камни где-нибудь под охраной конвоиров. Только не в Германии, а у себя на Родине.

Миша сам пробивался в жизни. Всеми правдами и неправдами цепляясь за возможность учиться, за возможность проложить себе дорогу и, прежде всего, за право жить. Он не только „грыз гранит науки": он прекрасно знает музыку, он бегло говорит по-английски. Все это не далось само собой: все это отвоевывалось.

– Держись, не унывай! Выгребем!

Впереди – беспросветно длинный день. Наше место работы на редкость удачно: оно за выступом скалы, мастер и капо сюда заглядывают редко, а постовому – белобрысому пучеглазому литовцу нет никакого дела до того, работаем мы или нет.

– Держись, говорю, не унывай! Здесь главное – беречь силы, ловчить. „Туфтить", где только можно. Вот видишь, я бью киркой камень. Посмотреть со стороны – надрываюсь. А на деле – я и одного осколка не отбил. Экономя силы и следя за собой, можно выдержать. Мы попали в самое пекло, в са-

мую преисподнюю. Здесь потерять контроль над собой, или растратить понапрасну силы – смерть!

– До гуры! До гуры, пся крэв, холера! У, пьерун, глупаки, до гуры!

Восемь скелетов, извиваясь под тяжестью, тащат рельсы. Сбоку поляк-капо идет, размахивая прутом.

Я знаю, что это значит – переноска рельс. Холодное железо жжет морозом пальцы, режет плечо и нельзя согнуться, неся рельсу, потому что тогда твоя порция тяжести распределится между другими несущими.

Наши кирки заработали ожесточеннее, пока капо не прошел вместе с своими дрессированными скелетами.

– Как я ненавижу Германию! Вся страна возлагала надежды на эту войну. На Волге колхозники подготавливали восстание, и оно бы вспыхнуло, не будь немцы такими тупыми и жадными. А сейчас... мне не за отца больно и не за себя. Мне больно за наш народ. Что так удивленно смотришь? Ты, эмигрант, может быть плохо нас знаешь. Так имей в виду, что таких, как я – много.

Вот мне, уже неделями жившем только „от" и „до" – от выхода на работу и до прихода в лагерь, от прихода в лагерь и до выхода на работу, во мне, уже превратившемся в глиняного автомата, вдруг вспыхивает что-то щекочущее, что, казалось мне, уже давно было придавлено.

– Знаешь ли, Миша, за что я сюда попал?

– За что?

Я начинаю свой рассказ. Как хорошо, что сегодня нам удалось побыть вдвоем за этим выступом. Я не

рассказал многого, и то, что рассказал, было сжато, и, может быть, сбивчиво. Слишком холодно и голодно, слишком сер этот день.

Моросит гаденький ноябрьский дождишка. Сырость пронизывает последнюю клеточку тела. Но на какой-то короткий срок не чувствуется ни голода, ни сырости...

– Эй, ты!

Меня вызывают к мастеру.

– Вот, он у нас инженер. Он должен это уметь делать.

Передо мной молодой человек в неизбежном для его профессии кожаном пальто. Рядом с ним – трехногий нивеллир и двое рабочих в гражданском.

– Мне нужен кто-нибудь, умеющий работать с нивеллиром. Я беру тебя в свое распоряжение. Командофюрер дал согласие.

Окружающие смотрят на меня с завистью: три часа, а то и больше, я не буду держать в руках лопату или кирку, не буду перетаскивать кряхтя и спотыкаясь, рельсы, не буду подталкивать вагоны, не буду слышать вечного los!

Инженер – молодой, смуглый, статный, только „на людях" говорит мне „ты". Когда мы остаемся вдвоем (я помогаю ему производить съемку трассы будущей дороги) он сразу же переходит на „вы".

– Почему вы сюда попали, коллега?

Умалчивая о том же, о чем умалчивал на допросе, я ему объясняю, вкратце, причины, приведшие меня в концлагерь. Он пожимает плечами:

– Мне жаль, что так случилось, но вы сами видите, что у властей наших не было другого выхода. Создание той России, которую вы хотите, означало

бы, что все наши жертвы, принесенные нами на Востоке, напрасны. Мы проливали кровь за немецкий народ, а не за русский.

Я молчу. Мне почему-то становится скучно.

– Господин инженер, если разрешите, я приступлю к ректификации инструмента.

Работаем, не торопясь. Нас четверо: инженер, двое гражданских рабочих-чехов и я. Чехи носят шест с делениями и стальную ленту, я веду запись углов и расстояний.

Постепенно мы удаляемся от полосатой толпы, заходим в лес. Инженер взял меня у командофюрера под свою ответственность и нас не сопровождает ни один конвойный.

– Я надеюсь, что вы не убежите?

– Я не настолько глуп. Во-первых, меня поймают, а во-вторых, если бы даже не поймали, то тогда поплатятся все те, кто арестован вместе со мной.

Набредаем на какой-то деревянный домик с выбитыми стеклами – должно быть лесная сторожка.

Инженеру определенно не работается. Он делает привал. Любезно предлагает мне сесть рядом с собой, съедает свои бутерброды, достает табак, раскуривает трубку...

Один из чехов подходит ко мне:

– Брате, возьми. Я получил из дому.

И протягивает мне черствый пирог, яблоко, папиросу.

– Как вы думаете, Herr Kollege, кто победит в этой войне?

Herr Kollege, мокрый, усталый, худой и грязный, смотрит на своего собеседника непонимающим взором.

– Не знаю, господин инженер.

Где-то бьет колокол. Это значит, что грузовик привез из лагеря обед.

К поясу каждого из нас привязана миска. Измятая, с облупленной эмалью, измазанная глиной миска – нечто вроде неразлучного амулета. Она – символ того, что мы все-таки живы, и что для того, чтобы мы работали, нас нужно кормить.

Инженер меня провожает. Он молод, он энергичен, он честолюбив: он рассказывает мне о своих планах, о том, что он высоко ценится как специалист, что он после войны организует предприятие европейского масштаба.

– Кто знает, коллега, может быть, после войны нам придется вместе работать. Мне нужны люди. В моем предприятии будет место и для вас.

Его правая рука, отвернув полы пальто, все время находится в кармане.

После раздачи обеда (лишний кусочек мяса – лишний кусочек жизни) наступает „лотерея": оберкапо обходит собравшихся и, то в одного, то в другого, тычет пальцем. Эти счастливчики будут выскребывать ложками „бачки".

Темнеет. Вокруг места работы зажигаются рефлекторы. Это значит, что скоро нас поведут обратно в лагерь.

– Zu fünf! Antreten! Schnell!

Нас выравнивают, пересчитывают... Кто-то пошатывается и падает. Его берут под руки, отводят и ставят позади строя. Ему придется хуже всех: его будут, задыхаясь от усталости, проклинать те, кого капо назначит его поддерживать, его будут бить рукояткой револьвера в спину обершарфюрер – высо-

кий, худой, со стеклянными глазами, и, угодничая перед обершарфюрером, ему будут давать затрещины оберкапо.

Когда команда возвратится в лагерь, его отнесут в больницу и там он, рано или поздно, застынет навек, устремив невидящий взор в пыльный растрескавшийся потолок.

В Германии в каждом селении есть церковь. Есть она и во Флоссенбурге, есть и в Гаппурге. В Герсбруке их две или три.

Как и во Флоссенбурге, многие, проходя мимо церкви, обнажают головы.

Мимо нас со смехом и визгом проносится на велосипедах группа девушек. Они нас не видят. Они не слышат мерное хлопанье по грязи сотен ног.

Мы стоим на дощатом перроне. Вокруг – темень. Где-то вдали – огоньки. Это – Герсбрук. Это – лагерь. Там, по крайней мере, нет пронизывающей сырости. Там дадут пол-литра горячего эрзац-кофе, кусок хлеба с маргарином и ложку творогу.

Но, пока доберешься до лагеря, нужно ждать. Поезд с паровозом номер 54 782 еще не скоро придет. Магистраль обслуживает военные составы, скорые пассажирские поезда, и до нас ей, в сущности, очень мало дела. Иной раз на этом дощатом перроне приходится выстаивать четыре часа.

Каждые десять минут – приближающийся грохот колес, красные фонари, проносящиеся в черное небытие вагоны... Не то. Все, все не то.

Но вот, наконец-то: 54 782. Короткая давка при посадке, и мы едем. Восьмой час вечера.

В бараке тесно. Блокман уже разбудил тех, кому предстоит идти на ночную смену и они, поеживаясь, толпятся вокруг маленькой печки – единственной на весь барак. Но вот вваливаемся мы – промерзшие, мокрые, голодные. У печки две толпы смешиваются. Кто-то кого-то не подпускает к огню. Кто-то с кем-то подрался.

Блокману все это надоедает. Он хватает табуретку и швыряет в толпу. Так, иногда, убиваются люди...

Пришел новый этап и у стены жмется несколько новичков. Их полосатые одежды еще чисты, еще не превратились в желтые лохмоться.

Вечерняя поверка происходит по баракам. Блокман нас выстраивает, пересчитывает и отправляется в писарскую рапортовать. Все это время (около часа, иногда – больше) мы стоим в строю.

День заканчивается раздачей кофе и хлеба. Около десяти часов все стихает. Вдруг слышится истошный визг. Обнаружили вора, укравшего у соседа кусок хлеба. Блокман выволакивает виновного на середину барака.

– О, Езус!

– О, Езус!

– О, Е... ...

Визг постепенно переходит в хрипение, затем, в какое-то бульканье и, наконец, смолкает.

Подложив под голову свои отрепья и башмаки под матрацы, мы забываемся...

X. „ЛУННЫЙ ПЕЙЗАЖ"

Психологическая картина жизни в каждом концлагере, а в таком, как Герсбрук в особенности, не

знала полутеней. Было черное и белое. Нечто вроде лунного пейзажа.

Жить в Герсбруке означало беспрерывно бороться за самосохранение. Злочастное „los!" висело каким-то проклятым напутствием туда, где „несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание".

Это случилось в один из мерзких, мокрых, не то ноябрьских, не то декабрьских дней. Будучи уже переведен в команду „на смену", я шел на работу ночью. Засыпали мы утром, в полдень нас будили, выдавали суп, и мы снова отправлялись спать до вечера.

Вставши так однажды к обеду, я услышал за стеной барака какие-то крики.

Двое из несших бачок с супом поскользнулись, и пятьдесят литров драгоценного содержимого вылилось в мерзлую грязь, – как раз под нашими окнами.

Как мухи на мед, со всех бараков посыпался народ. Люди ползали в грязи и собирали пригоршнями почерневший, смешанный с землей суп.

Потом налетели блокманы и пустили в ход палки. Увертываясь, люди продолжали подбирать дымящиеся куски капусты, картофеля, моркови... Каюсь, меня самого подмывало броситься в эту толпу.

Подвергаясь ежечасно, ежеминутно опасности услышать в последний раз в жизнь „los!", люди отбрасывали все наносное, все, внушенное „извне" той средой, где они раньше жили; зато их собственные природные качества выступали несравненно резче.

Ставший блокманом или капо вовсе не обязательно должен был бы быть в нормальной обстанов-

ке жестоким преступником, но, очевидно, в нем прятались какие-то склонности, вырвавшиеся на свободу тогда, когда он сам эту свободу потерял.

В политической экономии существует „закон предельной полезности". В городе, у себя на квартире, вы можете принимать ванну, не заботясь о воде. На пароходе вы предпочитаете умываться морской водой, а пресную сохраните для питья. В пустыне вы можете отдать золотое кольцо за стакан воды.

Получилось так, что многое из того, что украшает людей в их свободной жизни, в условиях отсутствия свободы оказалось для них ненужными побрякушками.

Но ведь есть люди, не считающие ненужной побрякушкой нательный крест...

Средний концлагерник – существо озлобленное, скупое, пронырливое. Он готов ударить того, кто наступит ему на ногу, но он сам отталкивает от места у печки более слабого. Он не поделится крошкой хлеба с тем, кто умирает рядом с ним, но он будет ждать смерти соседа для того, чтобы вытащить у него из-под матраца его ботинки. Он способен на воровство. Он подкрадывается к бараку, где лежат дизентерики и приносит им под полой в бутылке воду. Для дизентерика вода приблизительно то же, что медленно действующий смертельный яд. Но его мучает жажда. Он отдает хлеб и пьет воду.

Средний концлагерник ябедничает при удобном случае, если это сулит ему выгоду. Когда же он, почему-либо падает, чтоб уж больше не встать, ни одна рука не протянется ему на помощь.

Поставьте в вышеприведенную характеристику „среднего концлагерника" эпитеты, противополож-

ные по содержанию, т. е. назовите его душевно стойким, светлым, даже при виде знакомого дымка из кирпичной трубы всегда готовым помочь другу и словом и делом – вы тогда получите полное представление о людях „лунного пейзажа”.

Доктор Болеслав Я-цкий, заведующий бараком для сыпнотифозных, был человеком исключительно отзывчивым и сердечным. Палату свою он держал в порядке и чистоте, какие только были возможны. Доктор делал чудеса. Известен болезненный аппетит выздоравливающих после сыпного тифа. Доктор бегал из одной концлагерной канцелярии в другую, распинался, как мог, подавал фальшивые ведомости с увеличенным числом больных, но добился того, что у него никто не голодал.

Раз случилось, что на носилках принесли к нему больного в беспамятстве.

– Я посмотрел и обомлел. Передо мной лежал, собственной персоной, „ревир-капо”. О, до ясной холеры! Кладу его на свободную койку, смотрю на него и думаю: „вот ты лежишь сейчас бессильный и жалкий, тяжело дышишь, мечешься в жару и бредишь... А давно ли, какие-нибудь два-три дня тому назад ты, с одного маху, ударом табуретки в висок убил ни в чем не повинного человека?” Ведь это, прошу пана, было на моих глазах! А раз, помню, этот человек выставил двух помешавшихся голыми на мороз и обливал водой. Ясно, чем это кончилось. Вот, кто был тот, кого я должен был лечить. Вылечу, поставлю на ноги, вернется он на старое место и снова станет убивать людей. Выходит, что, если я его вылечу, то сам стану каким-то убийцей. Пусть пан никому не рассказывает, а то мне не сдобровать. Встал я однажды ночью, подошел к нему и всадил в

него инъекцию, хорошую инъекцию. Он сразу вытянулся и затих.

Вот отчего умер „ревир-капо", а вовсе не от сыпного тифа.

Как я уже сказал, блокман моего „второго" блока Альфред Ам, „политический" немец, лицом удивительно похожий на барбоса, избивал, и жестоко избивал, но только „за дело" – за опоздание в строй, за неубранную постель, за воровство.

Однажды (я тогда уже чувствовал предательскую жажду – признак наступающей дизентерии) он перед мои уходом на работу посмотрел на меня внимательно и с каким-то тайным сочувствием:

– Ну, и хорош же ты. Был вчера вечером на медицинском осмотре?

Нет. Мне, правда, не по себе, но я еще чувствую себя в состоянии работать.

– Дурак. Тебе уже давно следовало бы пойти к врачу. Сдохнешь на работе, а потом возись с тобой. Впрочем, один черт. Оставайся в бараке, а я пошлю сказать, что ты заболел и отправлен в больницу. Сегодня вечером тебя все равно туда примут.

Оставляя меня на свою ответственность на весь день в бараке, блокман рисковал потерей должности. А разжалованных блокманов приканчивали свои же.

Хуже всего приходилось французам и итальянцам. Физически они оказались наименее стойкими.

Транспорт французов, пришедший в Герсбрук в сентябре 1944 года, насчитывал восемьсот человек. К апрелю месяцу 1945 года из этих восьмисот оставалось в живых только тридцать два.

У меня нет данных о смертности итальянцев, но, работая одно время писарем в палате для дизентериков, я заметил, что каждое третье-четвертое имя, записанное мною на ежедневный список умерших были Энрике, Джованни, Луиджи, Франческо.

Французы, в массе, были эгоисты. (Хотя я и знаю ряд хороших исключений.) Недаром наши ребята говорили: „у француза лучше не проси". Но,в то же самое время, эти эгоисты не выделили из своей среды ни одного блокмана, ни одного капо, ни одного „полицая". Национальная сплоченность их была поразительной. Я не помню между французами не то что драки, но и ни одного крупного недоразумения. В разговоре они были вежливы, обращались чаще на „вы" и с прибавлением „monsieur".

Итальянцы, живые и впечатлительные, легко превращались в „доходяг". Умирали они всегда неспокойно: плакали, вспоминали „mama mia", бормотали в полузабытьи: „O, io moro, adio"... На русский слух это звучало как будто театрально. Но это были не подмостки; это было ожидание чего-то мучительного и страшного.

В нашем бараке был чуланчик. Хранилась в нем, обычно, посуда. Но однажды посуду вынесли прочь. В чуланчик были заключены двое, скованные один с другим. Русский белобрысый паренек и пожилой смуглый, немного обрюзгший,итальянец. Они были пойманы при попытке бегства и оба ожидали виселицы. В этом (какое сюда подыщешь прилагательное?) ожидании они прожили у нас, скованные и запертые в тесном темном чуланчике, где и лечь даже нельзя, два месяца.

Выводили их трижды в день во время раздачи еды. Потом перестали делать и это, принося им еду в чуланчик. Мы стали их видеть только, когда к нам приходил брадобрей. От долгого сидения в темноте их лица, в конце концов, стали какими-то алебастровыми.

Паренек плакал почти беспрерывно... Из-за стены доносились то тихое всхлипывание, то плач навзрыд. И это всхлипывание, и этот плач прерывались другим, сильным и чистым голосом.

Итальянец пел. Он пел крепким, хорошо поставленным баритоном песни своей родины. Песни о солнце, о садах, о море, о любимой.

Это было настолько необычно, что не выдержал даже зашедший к нам в барак эсесовец.

– Смотрите на него и учитесь. Вот с кого каждому нужно брать пример.

Наименьшее количество смертников давали русские. Они же давали наибольшее количество беглецов. Растерявшееся начальство запретило посылать русских на ночные работы. Они стали убегать днем.

Французы не любили русских: они считали их прирожденными ворами. Это было сильно преувеличено, хотя, что греха таить, случаи воровства среди русских были явлением далеко не редким.

Но зато русский, изловчившийся стибрить (на кухне ли, в складе ли, или на работе у мастера) что-нибудь съестное, никогда не насыщался добычей сам, как это делал каждый француз, получивший посылку.

Происходило обычно так: вам навстречу идет какой-то, совершенно незнакомый, курносый и ску-

ластый парень, и вдруг обращает внимание на букву „R”, чернеющую на вашем красном треугольнике.

– Ты русский?

– Русский.

– На, держи.

Маленькая деталь: русские, в отличие от заключенных других национальностей, *ни от кого никогда,* ни через какой Красный Крест, *не получали никаких посылок.*

Русские были наибольшими сквернословами. Но в их среде я не слышал ни одного разговора на „скабрезные” темы, ни одного непристойного анекдота.

Тому, кто хотел бы познакомиться с человеческой душой, данной в ее природных, ничем не скрытых качествах, „лунный пейзаж” концлагеря Герсбрук мог бы дать богатый материал.

XI. „РЕВИР”*

В затаенных мечтах каждого концлагерника на первом месте стояло получить лишнюю миску супа, а на втором – попасть в „ревир”.

По каким причинам – я думаю, что читателю не стоить объяснять.

Больница была замкнутым царством, со своей внутренней жизнью, своими законами.

Грязные бараки (к концу нашей лагерной жизни их было пять из семнадцати), в которых больные лежали по два и по три дня на койке, где не было ни

---

* Revier — полицейский участок; в данном случае больница.

воды для умывания, ни простынь, где вши густыми стадами ползали по одеялам, где вечно стоял спертый воздух и живые часами лежали вперемежку с покойниками, ожидавшими очереди в грузовик – эти бараки казались концлагернику каким-то обетованным раем.

Вдруг словно наплыло какое-то светлое облако. В этом облаке растворились койки, стены, проволока за стенами...

Мать... Невыразимо близкие черты... Как она писала в последнем письме? Да, да: „Я стала совсем старенькой. Ты, я думаю, меня бы и не узнал при встрече”. И вот она тут, рядом со мной, и я сам уже не я, а тот, кто был когда-то мною, я сижу с ней в нашей воскресшей комнате...

До чего светло это облако!

Мне кажется, что меня слышат, что в эту минуту со мной беседуют, отвечают на мои мысли. Говорят, чудовищным напряжением воли можно передавать мысли на расстояние.

Мать и... На лбу у меня выступает пот.

А вот друзья. Смеющиеся карие глаза Кирилла[5]. Нос с какой-то веселой родинкой. Где он теперь? Последний раз мы виделись с ним в Саксенхаузене. Вечером после работы, он подошел ко мне, сильно размахивая по привычке руками и уже за несколько шагов от меня улыбнувшись во все лицо.

– Я благодарен судьбе. Она меня поставила плечом к плечу с Кудерским. Какое замечательное „чучело для рубки” этот милый человек! На нем я заостряю оружие против диамата... Ух, черт! Ну и главы я напишу, когда выйду! Пальчики оближешь! А ты не сдавай, держись!

– За меня не бойся. Держись ты. Береги свои почки. Они у тебя, сам знаешь...

Это были последние слова, которыми мы обменялись. Неужели последние слова всегда так обыденны?

Как я встречусь со всеми ними и встречусь ли когда-нибудь? С одним – Колей Сергеевым[6], уже никогда не встречусь. Он умер в Саксенхаузене. Поранил ногу, не хотел идти на осмотр – эсесовец избивал тех, кто, как ему казалось, ловчили – дождался заражения крови и попал в больницу, когда уже было поздно. Мне рассказывал русский санитар:

– Как же, помню доктора Сергеева. У меня на руках он умер. Перед смертью бредил, все звал какого-то Васю. Кто это из вас будет Вася?

В самом деле, кого звал перед смертью Коля Сергеев? Кто этот Вася?

Почему-то я долго об этом думаю, перебирая всех друзей, и раздражаюсь, что не могу припомнить ни одного Васи. А это стало так важно, важнее, чем вся эта нелепая дребедень, в которую превратилась моя судьба.

Есть бытие. Но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье
Меж них оно...

Так, кажется, писал Баратынский. И сейчас: существую я или нет? Я живу мигом памяти и сознания, и лишь в той мере, в какой действительны память и сознание.

Какое мне дело до живого скелета, лежащего на матрасе под вшивым одеялом. В мой мир не волен войти никто: ни ревир-капо, ни обершарфюрер, ни

сам следователь Ротцоль. А живой скелет – серо-желтый человек с гладкостриженной головой, ввалившимся лицом, потным лбом и пустыми глазами?.. Пусть себе лежит. Он мне не мешает. Он не имеет ничего общего с моими памятью и сознанием.

– Как, он еще не умер?

Чей-то голос доносится до меня, как из-под ваты. Лицо со знакомыми дружелюбными карими глазами наклоняется надо мной.

– Кирилл, это ты?

(Я сам едва слышу, и даже не удивляюсь тому, что так слаб мой ответный голос.)

– Какой я Кырыл? Я Сэргэй. Падажды, не гавары. Поправляться будэшь. А тэпэр атдыхай.

Кто-то подходит и вливает мне в рот горячее эрзац-кофейное пойло. Все-таки, двигаться мне еще трудно! Почему-то стало смешно: эти руки на одеяле как будто бы не мои.

А что дальше? Что будет дальше? Допустим, когда-нибудь все это кончится...

Как глупо! Чего доброго, придется начинать все с самого начала...

Я не помню точно, когда во мне началась жизнь этого внутреннего мира. Вначале я еще плохо сознавал, где именно я нахожусь. Утро еще не наступило, в бараке мерцали лампочки,и мне одно время казалось, что я по-прежнему в штольне – там, где я после работы потерял сознание. Потом восстановилось все: я замерз в январской метели, и тогда меня, уже шатающегося, притащили с работы в штольню, откуда, должно быть, на носилках в поезд и потом в лагерь.

Один за другим приходили смотреть на меня, как на чудо, доктора.

– Как принесли тебя вечером, положили рядом с прочими такими же, как и ты, так и лежал бы до утра, а утром отдал бы Богу душу, – говорит мне Павел Васильевич – седой благообразный москвич.

– Это я тебя в лицо узнал и принялся за тебя лично. До двух часов ночи горячую воду на тебя лил; растираю руками: больно, почти в кипяток обмакиваю тряпку. А ты – чуть-чуть ногами пошевеливаешь, а сам – ледышка.

Сергей Сичилава, молодой грузин (посмотреть в глаза – вылитый Кирилл) приносит мне свой хлеб и усаживается на постель.

– Ну, теперь времени много. Отдохнешь – разговаривать будем. Расскажешь, как на том свете было. А ужин тебе вчера выписан не был. Решили, что к утру все равно помрешь.

Попав в январе в больницу, я из нее не вышел до самой эвакуации лагеря в Дахау, начавшейся 6 апреля 1945 года.

После десяти дней, проведенных мной в общем отделении, Павел Васильевич и Сергей дружными усилиями переправили меня в отделение для дизентериков. Этой тихой пристанью, куда редко заглядывало начальство, заведовал уже знакомый мне раньше Жак Легра – грузный курносый француз-парижанин.

– Mais naturellement, mon cher ! Ты останешься у меня. Oui, c'est ça! Куда тебе идти на работу? Упадешь – не встанешь.

Так начался еще один период моей лагерной жизни.

Я любил, когда вечерами приходил и подсаживался ко мне Сергей Сичилава. В нем было что-то живое, незаурядное, пытливое. Почему он стал врачом? Он сам называл выбор профессии „ошибкой":

– Мне нужно бы стать философом. Медицину начал изучать лишь, чтоб знать психологию и невропатологию. Готовил до войны кандидатскую диссертацию в этой области. Вот вернусь домой, докончу диссертацию, а затем займусь основательно („аснаватэльно") философией.

– Что ж, будешь, если я не ошибаюсь, первым грузинским философом?

– Почему первым? У нас есть старик-профессор Церетелли, вернее, был... В 1937 году он исчез. Говорят,расстрелян.

– Сергей, но ведь, чтобы заниматься философией, нужна свобода мысли, свобода исследований. Ты говоришь сам, что незнаком ни с чем, что было написано за последние двадцать пять лет на Западе. А вдруг тебя, как Церетелли, возьмут и расстреляют?

– Да, насчет свободы у нас туговато. Жаль.

Сергей задумывается и молчит. Мне ясно, что в нем самом происходит что-то, чем он со мной не делится.

Интересный человек этот Сергей! По убеждениям неисправимый „затхлый" материалист. В музыке, в искусстве, в поэзии – словно медведь на ухо наступил. Даже из своего родного Руставелли не помнит ни одной строчки. И все хочет упростить, все хочет свести к каким-то наглядным причинам, как будто мир – книжка с картинками для детей. И это человек, для которого классики философии, как собственная квартира! Мне совершенно непонятно, как

может он, находясь в общении с высотами человеческой мысли, не замечать, не чувствовать того, что как непреложную истину знает вон тот подметальщик Костя, поющий по вечерам „Ой, не ходы Грыцю" и снимающий шапку каждый раз, когда не то, что суп ест, когда корку хлеба жует?

Мне нравилось иногда задавать Сергею каверзные вопросы.

– Сергей, как материалистическое мировоззрение объясняет интуицию?

Сергей начинает путаться в каких-то нервных волокнах и, наконец, улыбается во все лицо.

– Ну, лежи, отдыхай. Потом поговорим. Подумаю и отвечу.

Но ответа он так и не давал.

Жак Легра – парижанин до мозга костей. Он любит плотно поесть, и подметальщик Костя вечно ему что-то варит на печке. Расхаживая по бараку, он всегда мурлыкает какую-нибудь песенку, по большей части, двусмысленную. С масляными глазами рассказывает о своих парижских знакомых: его гражданская специальность – „косметическая хирургия". Он не плохой человек и готов всегда помочь. В Париже у него, кроме врачебного кабинета, собственная виноторговля, а под Парижем – маленькая летняя вилла. Его любимцы – Вольтер, Стендаль, Анатоль Франс.

Он и Костя прекрасно понимают друг друга, и это для меня вечная загадка: Костя не знает ни слова ни по-французски, ни по-немецки.

Жаку Легра помогает молодой русский врач – худощавый и добродушный Леонид Муравка из Полтавы.

К французу он относится со снисходительным пренебрежением; Легра это чувствует и раздражается.

– У вас в России инженер не живет так, как у нас рабочий. Я капиталист, я эксплуататор!.. Ха-ха-ха-ха! У меня было шесть человек прислуги и любой из них жил лучше, чем ты у себя в больнице!

– Вот потому вы и проиграли войну. Прогнила ваша демократия сверху до низу.

– Что ж, по-твоему, чтобы страна была сильна, нужно ее граждан держать впроголодь? – бушует Легра, – да знаешь ли ты, что сейчас все французы взялись за оружие?

Леонид не сдается. Он продолжает хладнокровно вышучивать Легра и доводить его до бешенства.

– Вот ты приглашаешь Костю после войны к себе в Париж, на дачу. А может быть, Костя и не захочет оказать тебе эту честь. Может быть, он тебя самого пригласит приехать к нему в колхоз.

А позже, когда разъяренный Легра стихает, Леонид подходит к моей койке, склоняется и говорит вполголоса.

– Ну и взбесил же я его сегодня! А ведь, между нами говоря, кое в чем прав и он. Только ты ему этого не передавай, а то он задерет свой нос, черт курносый. Нашел, чем хвастать! Все равно у нас не хуже. Европа нам не указ.

В отделении для дизентериков я повстречался с Григорием Григорьевичем. Вначале я его не узнал: исхудавший, заросший черной щетиной; белые зубы страшно блестели на фоне этой щетины.

– Ох, вот где привелось свидеться! Мочи моей больше нет! В команде „Поммельсбрунн" работал.

Мастер в меня камнем швырнул, голову расшиб, а тут еще эта дизентерия. Голубчик, помогите, спасите! Достаньте мне цыбулю! Цыбуля помогает!

Я не знаю, помогает ли против дизентерии лук. Но я знаю, что у нас нет никаких лекарств. Больным дают раз в день какую-то белую глину. Может быть, в нормальных условиях это – хорошее средство. Но истощенному организму оно не впрок.

После долгих поисков я достал луковицу. В лагере лук был предметом торговли. Легра категорически запретил ее давать больному.

По одеялу и под одеялом ползают вши. Временами они набрасываются с яростью, так что горит тело, временами дают передышку.

На дворе какая-то муть. Барак тонет в слякоти.

Ночь прошла тяжело. На разные голоса плакали во сне итальянцы, прощаясь с mama mia. Кто-то, задыхаясь, хрипло просил воды, ежеминутно будя санитаров. Мой сосед по койке, семнадцатилетний Клод Дюпон лежал на спине, вздрагивая в агонии. Потом он затих. Спать было нельзя. Я сидел на кровати, поджав ноги и обхватив колени руками, и часами, пока утром не унесли труп, смотрел в беспомощное мертвое лицо.

Утром же унесли и Григория Григорьевича.

XII. ПЕРЕД РАЗВАЛОМ

Первые дни марта сорок пятого года. С топи, окружающей лагерь, тянет сыростью. Между кочками стеклится вода, на кочках уже начинает расправляться жирная зеленая трава.

Каждый вечер в бараке на час, на два гаснет электричество. Гаснет оно и ночью. Это значит, что где-то вблизи (чаще всего на Нюрнберг) – воздушный налет. Иногда доносятся взрывы и канонада зениток. Тогда барак дрожит и дребезжат окна.

Каждый вечер в гости к Легра приходит рослый румяный и жизнерадостный Андрэ – повар на эсесовской кухне. (В этом – разгадка румянца.) Он расстегивает куртку и вытаскивает сложенный вчетверо газетный лист. Это – голос, говорящий о жизни, в которой мы не участвуем.

Когда Легра читает газету, в бараке тишина. Больные и умирающие, выздоравливающие и симулянты ждут одного: что он скажет, курносый Легра, после того, как вновь сложив вчетверо лист, он вернет его Андрэ.

„Третий Рейх" и созданная им „Новая Европа" извиваются от боли. Пусть. Пришло распоряжение всем заключенным не немцам выстричь на голове дорожку. Пусть. Два дня лагерь не получает хлеба – в результате воздушного налета, повреждены нюрнбергские пекарни. Пусть. Среди нас вспыхнула повальная эпидемия сыпного тифа. Пусть. Но армии союзников стоят на Рейне, а с Востока надвигается что-то стихийное, что-то страшное в своей слепоте.

Там, по ту сторону проволоки, трещит и рвется распланированное до последнего винтика „германское тысячелетье", и мы это чувствуем. Что ж, пусть оно трещит, пусть оно рвется по всем швам. Нам терять нечего. Если же война затянется – мы отсюда не выйдем.

„Никогда Берлин не попадет в руки врага".

„Каждый дом в каждом немецком городе будет превращен в крепость".

„Своим сопротивлением ты обломаешь неприятелю зубы".

Все три лозунга напечатаны жирными буквами один за другим на клочке газеты, оброненной зашедшим эсесовцем и немедленно подобранном нами.

Клочок переходит из рук в руки, как лечебный талисман. Мы не читаем – мы расшифровываем слова.

Мимо лагеря днями и ночами пролязгивают один за другим поезда. Они гружены орудиями и ранеными.

Воздушные тревоги завывают утром, днем, вечером и ночью. Самолеты гудят над нами; иной раз они снижаются и тогда гуденье переходит в рев.

Вновь поступающие в больницу рассказывают, что гражданские мастера гонят на работе, как никогда. Они словно остервенели и кидаются на людей.

Март сорок пятого года застал меня на должности писаря в отделении для дизентериков. Должность была „сверхштатной", лагерным распорядком она не предусматривалась. Когда ожидали налет начальства, я должен был укладываться под одеяло, изображая мольеровского героя.

В мои обязанности входило вести учет больных, записывая их в книгу, распределять их по койкам, писать мертвым на груди и на правом бедре химическим карандашом номера, вычеркивать их из книги и заносить на особые бланки.

В отделении было сорок коек. Число больных колебалось от семидесяти до ста двадцати.

Каждое утро и каждый вечер производится подсчет мертвых. Пять-шесть утром, пять-шесть вечером.

Как много значит для людей привычное теченье уже намеченной жизни! У Анатолия Николаевича Ольховникова, московского доцента-литературоведа, была своя небольшая квартира, был круг друзей и сослуживцев, была работа, которая его интересовала и которую он любил. Приходя домой из института, он целовал жену, пробегал газету и слушал радио.

Когда я ближе с ним познакомился, мне почему-то казалось, что сослуживцы должны были считать Анатолия Николаевича человеком, правда, суховатым, но аккуратным и добросовестным. Его труды печатались в специальных журналах (он мне назвал один: „Методология знакомства с поэтами современниками Пушкина"). Они вполне согласовывались (дань времени) с принятыми „установками" и были ничем не хуже полсотни других таких же работ. Если бы кто-нибудь тогда в Москве назвал Анатолия Николаевича оппортунистом, он, конечно, обиделся бы, потому что слово „оппортунист" звучит обидно, но самого упрека в оппортунизме просто бы не понял.

Конечно, не все в том, что делалось вокруг, ему нравилось, но, во-первых, он всегда, даже в глубине души (как он мне в том признался), подыскивал этому оправдание, а, во-вторых, он прекрасно знал, что о том, что не нравится, вслух не скажешь. Это сознание, что об одном можно говорить, о другом

даже до́лжно, а вот о третьем – нельзя, нельзя ни за что, стало такой же неотделимой привычной частью его жизни, как московская квартира, как интересная работа, как любимая жена. Все это было „свое": и библиотека института, и „директивы партии и правительства", и новая постановка МХАТа.

Это „свое" Анатолий Николаевич принес с собой неизменным за колючую проволоку: сперва немецкого плена, затем – немецкого концлагеря.

Европа олицетворялась для него Германией, а Германия была тем, что разбило его привычную жизнь, оторвало его от дома, от жены, швырнуло его в концлагерную грязь, превратило его в нумерованную рабочую силу, нарядило его в позорную полосатую одежду, заставило его маршировать в колодках и бить киркой камни.

Конец войны рисовался ему, как возвращение в Москву, к жене, к работе, на свою родную квартиру, где на этажерке – Пушкин, Горький, Шолохов и неизбежный „Краткий курс истории ВКП(б)", а на столе – чай с вареньем.

Я познакомился с Анатолием Николаевичем в отделении для дизентериков, куда он попал по той же причине, что и я.

Этот выбитый из колеи человек жил лишь одним: скорейшим возвращением в Москву.

– Попадете на родину, учитесь, когда нужно, держать язык за зубами, – с оттенком собственного превосходства сказал он мне.

Вечные разговоры о еде. Они не прекращаются ни на минуту. С воспаленными и мечтательными глазами, не видящими ничего, кроме плавающих в воздухе жаркого, ветчины, тортов, лежащие на койках

способны говорить о еде часами, и когда приносят для раздачи суп, они плачут, если им достанется ложкой меньше.

Исключение – тяжелобольные. Им хочется лишь пить, и они шепчут один другому о винах, о черном кофе, о бергамотовых грушах.

Более здоровые, во время раздачи еды, не спускают глаз с тяжелобольных, набрасываются на несъеденные остатки и спорят из-за них.

Очень часто бывает, что начинающий выздоравливать, наевшись этих остатков, заболевает вновь, и тогда уже истощенный организм не оказывает больше болезни сопротивления.

Подметальщик Костя то и дело выскакивает на двор, отгоняя людей, толпящихся у окон барака с бутылками под полой.

Однажды, во время ночной тревоги, когда свет в бараках потух, кто-то подкрался к бочке с водой для мытья посуды (она всегда была закрыта наглухо, крышка запиралась на замок) и пробурил ее гвоздем.

Произошел потоп, и в темноте было слышно, как сползали с коек, как лакали с пола то одни, то другие...

Утром, вооруженный мокрой тряпкой и химическим карандашом, я натирал грудь и правые бедра не пяти-шести, а шестнадцати.

Вечерами, когда кончался прием больных, когда заканчивалась раздача хлеба, и до укладки спать оставалось свободное время, Леонид любил пофилософствовать.

– В нашей истории уже два раза были периоды, когда все подчинялось интересам государства. Иван

Грозный и Петр Великий сосредоточили всю власть в своих руках. Оба были жестокими деспотами. Но оба были носителями государственной идеи. История их оправдала.

– А оправдает ли история девятьсот сорок первый год?

– Не нам об этом судить. Кроме того, я глубоко убежден, что после войны многое у нас изменится. Ты должен сам понять...

Леонид никогда не договаривал, в каких именно переменах был он убежден.

Религиозные темы затрагивались редко. Здесь все было решено. Сергей был безбожником потому, что Бог казался ему ненужным для понимания мира; для Анатолия Николаевича вера в Бога была пережитком прошлого: не мог же он, культурный человек, серьезно считаться с какими-то мифами; лишь Леонид принадлежал к типу „поверхностных" атеистов и, кажется мне, в глубине души чувствовал то, что было недоступно Сергею.

На „западную" Пасху, когда не было работы и полосатые халаты, пошатываясь, бесцельно бродили по лагерю, он подошел ко мне и смущенно улыбнулся.

– Ну, что ж. Христос Воскрес!

Сколько я вычеркнул из книги больных, лежавшей на докторском столике? Не помню. Сейчас они все сливаются, все кажутся на одно лицо. Пять-шесть утром, пять-шесть вечером...

Впрочем, один случай запомнился особо. Рядом с книгой больных я увидел однажды на столе фотографическую карточку.

Крупный широкоплечий и широколицый человек в черном костюме с белым цветком в петлице. На заднем плане – церковный портал. Под руку с ним – молодая улыбающаяся женщина в подвенечном платье. У человека не руки, а лапы. Костюм ему тесен, он неловко себя в нем чувствует, не знает, что делать с белыми перчатками, сжатыми в одной из его лап в комок. Но на лице его расплылось простодушное блаженство.

– Откуда это у тебя? – спросил я Леонида.

– Вон у этого найдено, – и Леонид, закурив, показал мне на одну из коек.

На ней лежал голый. Он ничем не отличался от прочих: скелет с остановившимися глазами, обтянутый серо-желтой кожей.

Я взял мокрую тряпку и химический карандаш.

В первых числах марта я получил рождественскую посылку. Место отправки – Прага. Отправитель мне лично не известен. Вещи, завернутые в издающуюся в Берлине газету „Воля народа". Первое печатное слово на русском языке за много месяцев. Из него я узнаю о „Комитете Освобождения Народов России", читаю его манифест, подписанный Власовым.

Мои русские созаключенные, читая Манифест, не верят своим глазам.

– Это немецкая провокация, – решают, в конце концов, они. – Этого не может быть.

Задумываюсь и я.

Андрей Андреевич Власов призывает открыто, на столбцах газеты, печатающейся в Берлине, призывает к борьбе за свободную Россию (не за „Остланд", не за „Новую Европу", а за Россию), изла-

гает программу и сообщает о формировании вооруженных частей.

Я знаю, что раньше говорить о России можно было лишь в изданиях, предназначенных для немецкой пропаганды среди военнопленных. Сама же немецкая печать о России и русских – как в рот воды набрала. Всюду „Восток", „восточные люди", даже (как курьез) помню выражение „восточный писатель Достоевский".

Что ж это происходит теперь? В какую сторону дует ветер в берлинских „амтах"?*

Разгадка приходит сама собой. Она в том, что я, что мои друзья, что Леонид Муравка, Сергей Сичилава, сотни тысяч, миллионы мне подобных находятся „*здесь*", а не „*там*".

А раз так, то все это – не двуличная ли, не нечестная ли игра со стороны немцев? Неужели они отказались от украинского чернозема, от русского леса, от кавказской нефти, от белых рабов? Или утопающий хватается за соломинку?

„Мы проливаем кровь за немецкий народ, а не за русский".

Мне вспоминается: Власов, высокий, худой, в очках, только что выпущенный немцами из плена, пьет чай в одной русской семье в Берлине.

– Ох, Андрей Андреевич, помяните мое слово – вас обманут. Вы здесь без году неделю, а мы прожили за границей двадцать лет и хорошо знаем немцев, – говорит ему один из гостей.

Андрей Андреевич ничего не ответил, только хитро, по-мужицки, ухмыльнулся. В глазах можно было прочесть: „Посмотрим еще, кто кого обманет".

---

* Амт — официальное учреждение.

В окно барака видны зеленая топь, окружающая лагерь, запачканные больными одеяла, просушивающиеся на мартовском солнце, колючая проволока и часовой с автоматическим ружьем на деревянной вышке.

Я недолго проработал писарем в отделении для дизентериков. Меня свалил с ног сыпной тиф и я пролежал почти весь март. Раз, когда я уже начал приходить в себя, пришел ко мне Леонид и, смеясь, забарабанил ладонями по щекам:

– Подлец ты, подлец! Ну, как ты не умер? Мы все тебя уже давно похоронили.

Приходил навестить меня и Легра. Он был озабочен.

– Voyons, mon cher. Il faut être fort.* Союзники перешли через Рейн. Ганновер, Франкфурт, Майнц уже взяты. Наступление ведется на Штутгарт. Нужно считаться с возможностью эвакуации. Торопитесь выздороветь. Неизвестно, повезут ли нас, или погонят пешком. Если погонят пешком – слабых будут пристреливать по дороге.

„Пристреливать по дороге", отдается у меня в голове, „пристреливать по дороге"... Эта фраза ничего не вызывает. „Пристреливать по дороге". Лишенное смысла словосочетание. Должно быть, как Казимир Фаддеевич, я стал выше горя и страха.

XIII. ЭВАКУАЦИЯ, ДАХАУ

Это случилось почти неожиданно. Жизнь, как бы вдавленную, втрамбованную в тестообразную герс-

* Ну, дорогой, надо быть крепким.

брукскую глину, вдруг вырвали из ее засасывающей плоти.

Еще накануне никто ничего толком не знал. Где-то „на воле", потерявши голову, суетились в мышиной беготне все те, по чьей милости „мы" это – мы.

Нюрнбергский гаулейтер издал приказ, какими-то неисповедимыми путями попавший к нам. Каждый должен защищаться на пороге своего дома. Покидающие свои места будут расстреляны.

Гаулейтер, должно быть, потерял самообладание: он не остановился перед употреблением в официальной бумаге непечатных слов, меча громы и молнии по адресу „трусов, бегущих от приближающегося врага".

Этот, ничего не поделаешь, приказ стал причиной задержки эвакуации. Лагерное начальство не знало, к кому относятся непечатные выражения гаулейтера, и то назначало эвакуацию, то отменяло, то вновь назначало, то вновь отменяло...

Команды, переставшие было ходить на работу, снова стали посылать рыть землю и перетаскивать рельсы, и мастера хватались за малейшую возможность выместить на заключенных злобу и страх. „Los!" висело в воздухе, не умолкая.

Нежелание разваливающейся Германии расстаться „по-хорошему" с полосатыми „строителями Новой Европы", нежелание передать их в руки союзников-освободителей взяло верх над всеми прочими соображениями.

6 апреля больных нашего лагеря погрузили на железнодорожные платформы: по восемьдесят человек на каждую.

Остальным предстояло идти в последующие дни пешком.

Я не успел проститься ни с Леонидом, ни с Жаком Легра; подметальщик Костя торопливо сунул мне на прощанье кусок хлеба. Мы с ним наскоро, но крепко расцеловались.

Поезд долго стоял возле хорошо знакомого дощатого перрона-помоста осужденных без суда. Потом рванул и побежал. Сначала мелкой рысцой, затем ускоряя ход.

Дымный ветер засвистел в уши. Куда-то далеко назад унеслись некрашеные бараки, окутанные проволокой, дозорные вышки, казарма имени Прусского Короля, игрушечный городок – декорация к сказкам братьев Гримм, с уютной белой беседкой на вершине лесистого холма...

Герсбрук... Будет ли когда-нибудь в нем поставлен памятник всем тем, кого ежедневно волок на сожжение грузовик?

Мы ехали два дня и две ночи. В дороге нас кормили всего раз; выдали по ломтю хлеба с маргарином и сыром.

Но это еще полбеды. На станции Дахау нам встретился другой состав с заключенными, шедший откуда-то с востока. Они путешествовали одиннадцать дней и за все время получили лишь по килограмму хлеба.

Мы не идем – мы передвигаем ноги. Но обязательно по пяти в ряд. За нами – фуры, груженые теми, кто умер по дороге.

Длинная светлозеленая стена с башнями. Под башней, что повыше других, ворота. Надпись:

„Schutzhaftlager Dachau"

И пониже:

„Arbeit macht frei"

Еще не входя в эти ворота, уже знаешь, что натолкнешься на надпись белыми буквами по фронталу бараков, звучащую по-русски так:

„Есть только одна дорога к свободе. Ее вехи: послушание, честность, трудолюбие, чистота и любовь к Родине".

Мы на „аппель-плаце" лагеря Дахау.

С именем Дахау у всего мира связано представление о чем-то кромешном, о преисподней, вознесенной на поверхность земли.

Вероятно, единственными, не разделяющими этого представления, единственными, произнесшими про себя фразу „наконец-то мы в Дахау" с чувством искреннего облегчения, были пишущий эти строки и его друзья, устало и безжизненно лежащие на песке „аппель-плаца" в ожидании неизбежной бани, неизбежной регистрации и (счастливый венец всех злоключений) загона на нары, в барак.

Хотелось есть, но есть было нечего. Хотелось спать, но спать было негде. Зато Герсбрук позади, а здесь, говорят, работы уже почти прекратились и никто не избивает насмерть.

Анатолий Николаевич устроился писарем нашего этапа. Это значит, что он теперь может быть сытым. На гладко выбритом лице написана деловитость. В руках — карандаш и подобие блокнота. Вот и говори теперь, что не место красит человека, а человек место!

— Анатолий Николаевич, что слышно нового на фронте? Правда ли, что бои идут уже под Нюрнбергом?

— Ах, погодите. Извините меня, я сейчас занят. — И уносится дальше что-то, кому-то, куда-то докладывать.

Мы лежим час, другой, третий...

Над нами в чистой по-весеннему голубизне – воздушный бой. Американцы бомбили Мюнхен, и откуда-то сбоку встают черные стены. В небе расплываются белые клубки разрывов и, как серебряные голуби, высоко-высоко плывут, пробиваясь на запад, американские самолеты.

В отличие от всех прочих заключенных, нас никто не загоняет в бараки: мы еще не вымыты, не записаны, не распределены по жилищам, а, следовательно, и не числимся по лагерю.

И вот, мы лежим на песке и щебне, с безотчетной радостью наблюдая происходящий над нашими головами воздушный бой. С каждым часом нас становится все больше и больше. Шаркая ногами, прибывают все новые и новые колонны. С разных мест Германии сгоняют их сюда. Слышатся все новые и новые названия, раньше нам неизвестные: „Водруф”, „Зааль-ам-Донау”, „Дюссельдорф”, „Гейльбронн”, „Кохендорф”.

Кажется, вся Германия была усеяна бараками, обнесенными проволокой.

И каждое название обозначает целый мир – своеобразный, самобытный, со своими дурными и хорошими сторонами.

Взять, хотя бы, наш Герсбрук...

Часовые в нем не были эсесовцами и не избивали. Литр супа был густым. В каждом бараке было хотя бы по одной печке.

В лагере Зааль-ам-Донау работы велись исключительно в каменоломнях. Рыть глину все же немного легче, чем долбить камни.

Жители лагеря Водруф, как и мы, имели дело с

глиной и песком, но кормили их водой, настоенной на брюкве.

В Кохендорфе бараки отличались отсутствием окон и печей. Работы велись в подземных копях, и люди месяцами не видели солнца, выползая из-под земли, только чтобы переспать ночь.

Были и „счастливые" лагеря, где жилось сноснее. В Дюссельдорфе, например, кормили неплохо, хотя заключенные жили при фабрике и спали там же, на цементном полу.

Условий, которые когда-то дали „передышку" тысяче людей в местечке Зеештадтль, не знал ни один лагерь.

Наконец, когда уже темнеет и свежеет, нас гонят в баню, затем, уже совсем вечером, загоняют в барак, и только там выдают по куску хлеба с маргарином: первая еда за весь день.

Спим по три человека на койке, заползая на трехэтажные нары. Это совсем не легкая вещь: улечься на койке втроем.

В двух помещениях, рассчитанных самое большее на сто человек, нас набивается свыше четырехсот.

Теперь весь мир знает о Дахау: знает об опытах над живыми людьми, об искусственных прививках малярии и сыпного тифа, о газовой камере, о виселице и расстрелах.

Я пробыл в Дахау до прихода американцев всего три недели. Все это время мы находились в „карантине". (Из нашего „двадцать восьмого" барака были выселены жившие в нем до нас католические священники всех европейских стран, и он был превращен в изоляционный барак для кандидатов в крема-

торий – наподобие того, что я уже видел во Флоссенбурге.) Обо всем том, о чем пишут сейчас газеты всего мира, я знал уже раньше, из рассказов друзей по заключению, побывавших в Дахау до нашего туда прибытия.

Вы думаете, что они рассказывали о Дахау с ужасом? Они мечтали обратно туда! Для тех, кто перетаскивает по морозу рельсы где-нибудь в Герсбруке или барахтается в соленой жиже где-нибудь в Кохендорфе, Дахау – вовсе не опыты над живыми людьми, газовые камеры и виселицы. Это место, где на ногах стоишь десять, а не четырнадцать часов. Это место, где можно „словчить" – попасть в нетрудную команду. Это место, где не избивают насмерть. Наконец, это место, откуда есть шансы попасть в сравнительно благоустроенный лазарет.

Леонид Муравка и Жак Легра остались в Герсбруке. Этап больных сопровождали Павел Васильевич и Сергей Сичилава.

Сергей на другой же день своего прибытия вступил в философский спор с польским прелатом, перекочевавшим из нашего барака в соседний „двадцать шестой".

– Приведите мне конкретные доказательства ваших религиозных теорий. Я могу верить лишь тому, что представляет собой доказуемая реальность.

Прелат, уже старичок, со сморщенным, как печеное яблоко, лицом, мягко улыбается.

– У меня есть Библия на русском языке. Я вам ее дам, – вы-то, небось, ее не читали, – и вот, когда вы ее прочтете, мы с вами поговорим.

Сергей берет Библию и отходит. Меня разбирает любопытство, но я молчу.

Весь двадцать восьмой барак был занят герсбрукскими „доходягами".

На рассвете нас всех выгоняли мерзнуть на двор и начиналось мытье помещений, продолжавшееся часа три. Все это время мы слонялись, лязгая зубами и мечтая об обеде.

Уборные были загажены и в них было не протолкнуться: многие из нас страдали дизентерией. Рядом, в умывальне, на полу коченели голые трупы, ожидая прихода фургона.

Каждый день в десять часов утра фургон забирал свою кладь. Болтались руки, ноги, головы, свешиваясь вниз и вздрагивая на кочках.

Французы, бельгийцы и голландцы были застрахованы от голодной смерти: лагерь располагал для них большим количеством безымянных посылок, посланных соответствующими организациями Красного Креста.

Всех остальных голодная смерть подстерегала на каждом шагу.

Но не лучше приходилось и многим французам, ставшим жертвами собственной скупости. Не поделившись ни с кем и поедая в один присест обильную пятикилограммовую посылку, многие из них заболевали поносом, и то, что должно было спасти жизнь, обращалось в яд.

При входе в барак, в коридорчике, разделявшем помещение, висела черная доска. Каждый день на ней мелом выписывалось число жителей барака. Каждый день уменьшались цифры. Позавчера – че-

тыреста семнадцать. Вчера – четыреста. Сегодня – триста восемьдесят шесть.

Примерно, дней через десять после нашего прибытия в Дахау, туда же пришел пеший этап из Герсбрука.

Шли неделю. Дошло около трети. Остальные, либо разбежались, либо были пристрелены по дороге, как не могущие идти. В дороге давали по несколько сырых картофелин в день, а два последние дня не давали вообще ничего. Люди рвали и ели траву.

Какую-то часть заключенных не успели угнать, и она была захвачена американцами. Как передавали, среди них – Леонид Муравка и Жак Легра.

Самые мрачные герсбрукские бараки – двухэтажный шестнадцатый и семнадцатый разрушены от воздушного сотрясения, вызванного разорвавшейся вблизи бомбой. Пострадала и казарма имени Прусского Короля.

Русские организовали свой собственный „Красный Крест". Ребята, работающие на кухне, ежедневно начали приносить в наш барак бачок с супом для раздачи только наиболее слабым русским и югославам.

А однажды ночью была проявлена инициатива совершенно другого рода. Кто-то украл у двух французов посылки и утром из-под полы раздавал продукты русским. Виновник так и не был найден.

Я встретил в числе жителей барака Мишу. С ним был и его неразлучный товарищ Жорж – студент из Ростова-на-Дону.

Миша превратился в живой скелет, но оставался прежним.

— Мне противно смотреть, как лебезят перед блокманом, как дерутся между собой за лишнюю ложку супа. Лучше сдохнуть, чем себя так унизить.

— Миша, а что, если освободят американцы? Куда ты денешься?

— Не знаю. Не думаю об этом. Вернее всего поеду на Родину, буду работать. Ведь должно же что-то измениться в результате этой войны! А дела — непочатый край!

Сичилаву я застал за Библией. Он читал книгу Екклесиаста. Удивлению его не было границ.

— Как замечательно, как глубоко написана эта вещь! Автор мог быть лишь гениальным философом. — И Сергей прочел каким-то необычным для него голосом: — „...Потому, что во многой мудрости много печали: и кто умножает познания, умножает скорбь".

XIV. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Паек в Дахау, мало сказать, что голодный. Он смертельно голодный. Литр водянистого супа и ломтик хлеба в день. Нигде, кажется, не вылизывали так миску, не подбирали с пола каждую крошку, как в Дахау.

Но нет никакой работы. Это самое главное. Канули в прошлое вагонетки с землей, мерзлые рельсы, злая неподатливость камня, бесконечное стояние на ногах. Никто больше не крикнет: „Ios!".

День проходит в ничегонеделаньи, по утрам — в ожидании обеда, днем — в ожидании вечерней раздачи хлеба, и еще, круглые сутки, в ожидании того,

что нам кажется каким-то ослепительным и радостным взрывом.

Лагерь переполнен людьми. А каждый человек – узловая станция слухов, впитываемых со всех сторон. Изредка, каким-то чудом, просачиваются газеты. Мы узнаем о том, что „враг у стен столицы", о том, что уже пал Нюрнберг.

Ожидание того, о чем, когда думаешь, то захватывает дыхание, переплетается с другим, холодноватым ощущением: нас, в конце концов, могут перед самым развалом всех до одного прикончить...

Все эти мысли приходят и уходят, но ни на минуту не забываешь о том, что хочется есть.

Коля Кононов из под Калуги – крестьянский сын. Я с ним ближе познакомился еще в Герсбруке, когда лежал в палате для сыпнотифозных. У себя в селе он окончил десятилетку, поехал учиться в Московский Авиационный институт... Поступил туда, скрыв „социальное происхождение": родители, как „подкулачники", были сосланы в свое время на Беломорский канал.

Во время войны был призван в армию, где-то около Смоленска попал в окружение, затем очень скоро бежал из плена и целый год партизанил в Брянских лесах. Взят в плен вторично, уже как партизан. Каким-то чудом избежал петли и попал в концлагерь.

То ли от одичалой жизни, сперва партизана, а затем концлагерника, то ли потому, что все городское было в нем чужеродной примесью, но Коля, голубоглазый Коля, с носом-картошкой, стал в гораздо большей мере простым деревенским парнем, чем, наверное, был им в Москве.

Об аудиториях, чертежах и проектах он и не вспоминал. Его тянуло в деревню. И не в колхозную деревню, а в деревню сытую, „нэповскую", хотя о НЭПе он помнил смутно. Колхозы же он ненавидел стихийной ненавистью, и в этой ненависти сказывалась извечная землелюбивая крестьянская тоска.

– Нет, браток, во всем Союзе нет ни одного крестьянина, который бы не мечтал о собственной земле. В деревню бы мне сейчас, к своим, развалиться бы на сеновале!.. Эх, небось, куры у нас уже начали нестись!..

Коля хлопнул меня по плечу и сплюнул.

Ежедневно приходят навещать французов их священники. Они приносят им свежие новости.

– Три американских колонны движутся по направлению к Мюнхену.

– Союзники взяли Ингольштадт.

– Русские в Вене.

И ползут другие зловещие слухи: лагерь будут эвакуировать.

Куда? Куда?

Каждый день около полудня пронзительно мяукают сирены. Нас запирают по баракам, и мы лишь через окна видим, как проплывают стайками серебряные голуби. Хочется распахнуть окно и помахать им рукой.

Когда в отдалении смолкают выстрелы и взрывы, мы выходим на двор, пошатываясь, как пьяные, от свежего воздуха.

Новый слух: комендант пригласил (не позвал, а пригласил!) к себе лагерных врачей и предложил им

взять в своих руки заботы о лагере в случае прихода союзников. И еще один слух: германское правительство, якобы, передает нас под покровительство Международного Красного Креста. Из Женевы, якобы, уже приехали делегаты.

И вот, уже не слух, а очевидность: блокманы избегают бить. Они (неслыханная вещь!) часто предпочитают уговаривать. Уговаривать нас, жалких, вшивых, грязных... Да они, кажется, заискивают перед нами!..

Снова эвакуация! И при этом, по этапу, пешком. Лагерь будут эвакуировать по национальностям. В первую очередь — немцев политических, евреев и русских.

В бараке возбуждение. Есть приманка: идущие получают перед отправкой по целому хлебу, банке мясных консервов и сыру, не считая новой одежды и ботинок. И вторая приманка: авось, удастся по дороге заползти незаметно в какую-нибудь канаву.

Но поражало странное совпадение: политические немцы, евреи и русские... Это неспроста. Не кроется ли за всем этим...

— Все русские, выходи! Строиться!

Нас осматривают врачи: кто способен, кто неспособен идти пешком. Та же самая процедура происходит с немцами и с евреями. Меня, как неспособного к пешей ходьбе, отделяют в сторону.

Завтра признанных способными куда-то уведут.

Из здоровых остаются лишь имеющие постоянную работу по обслуживанию лагеря. Так, не идет, остается с нами работающий писарем Анатолий Николаевич. Зато Сергей завтра уходит. Не помогло и то, что он врач. Докторов достаточно и без него.

Миша и Жорж, признанные „способными", решаются бежать.

Я у кого-то раздобываю маленький потертый атлас и передаю его, из-под полы, Мише.

– Отсюда не так уж далеко до швейцарской границы. Старайся пробиваться туда. Попадешь в Швейцарию – ищи моего друга. (Я назвал имя, фамилию и адрес.) – Скажи, что видел меня и что я направил тебя к нему.

Миша молча стискивает мне руку.

На другой день новое распоряжение: из больных не идут только те, кто не в состоянии держаться на ногах. Таким образом, я снова попадаю в колонну. Выручил случай: концлагерный „чиновник", производивший нам перепись, заметил против моей фамилии приписку „бесподданный". Произошла заминка. Как не имеющий подданства, я был, в конце концов, из колонны исключен.

„Их" угоняют, держат до позднего вечера на „аппель-плаце" в строю, потом они тут же, на песке, укладываются спать, а утром их угоняют окончательно.

Мало русских осталось в Дахау. Из десяти тысяч всего две. Кое-кто попрятался во время осмотра, кое-кто был признан тяжелобольным, кое-кому удалось „словчить". Кто-то, действительно, или притворяясь, упал в обморок на аппель-плаце и был принесен обратно.

Теперь принялись, почему-то, за итальянцев и за венгров.

Да... Как будто бы кончилось... Теперь можно подумать и о будущем... Но о чем, в сущности, ду-

мать? Негде повернуться. Одна нога подогнута и затекла. Выпрямить ее нельзя, потому что она натыкается на бедро соседа, а на другой бок повернуться тоже нельзя – мешает тело, лежащее справа. Это тоскливее, чем духота, мучительнее, чем голод. А, может быть, и не кончилось? Может быть, завтра весь лагерь куда-нибудь погонят? Может быть, выведут на „аппель-плац" и откроют стрельбу из пулеметов?

Сосед слева, изможденный и истеричный мальчишка из под Киева, украл вечером у кого-то хлеб. Его избили. Так жестоко избили, как могут избить голодающие.

Я удивляюсь, как он смог, окровавленный, взобраться на койку. Там же он, не слезая вниз и всхлипывая, вдруг стал мочиться. Его начали бить снова. Теперь он во сне скрежещет зубами.

Итальянцев угнали на „аппель-плац", продержали там весь день, и поздним вечером пригнали обратно.

Транспорт не пошел. Сразу же поползли слухи о том, что мы окружены. Значит никакой эвакуации не будет... Значит нужно ждать...

Сергея Сичилавы нет. Коли Кононова нет. Миши, Жоржа нет... Впрочем, может быть, это последний раз, что приходится привыкать к одиночеству?

Вечером 29 апреля у нас, как всегда, происходила раздача хлеба. Нас загоняли в помещения и мы распластывались по койкам.

Походило на то, что стены комнаты с пола и до потолка были заставлены перегороженными полками, и с этих полок, как из клеток, смотрели густо напиханные человеческие головы. Смотрели не отрываясь, не переводя дыханья, в одну и ту же точку: на стол посреди комнаты. На этом столе лежали ломтики хлеба.

Боже упаси ошибиться во время раздачи! Тогда кто-то останется без ужина.

Тишина была такая, что явственно слышалось чье-то сухое покашливанье, доносившееся откуда-то из-под потолка в противоположном углу.

Уже половина помещения получила свою утлую порцию, как вдруг...

– Ура-а-а-а-а-а!!!

Дикий, нечленораздельный вопль десятков тысяч ворвался со двора.

Кто-то из лежавших близ окна завизжал не своим голосом.

– Американцы в лагере!

Мы, не шелохнувшись, смотрели на хлеб.

Раздатчики, растерявшись, прервали раздачу. И тогда тишина в комнате нарушилась. Со всех сторон загалдели:

– Хлеба давайте, скоты, дьяволы! Хлеба! Хлеба!

Растерявшись окончательно раздатчики унесли куда-то стол.

Мы продолжали лежать, не двигаясь с места и крича только об одном. Мой сосед справа, пожилой белорус, заплакал:

– Сволочи, хлеба не дадут, сами его сожрут, подлецы!

А со двора, по-прежнему, не умолкая доносилось что-то неистовое, от чего дребезжали стекла.

XV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

„Последние дни" могли бы быть в этой книге и последней главой. Все остальное – шествия толпами, с выкрикиванием на разных языках песен, сотни несчастных случаев от несдержанного аппетита, флаги на бараках, бесконечные регистрации, приезды журналистов, работы „национальных комитетов" и подготовка к возвращению домой, – не имеет прямого отношения к теме этой книги. Но все дело в том, что развязка для одних оказалась завязкой чего-то нового для других, и этими другими оказались русские.

Художественная логика требует от автора поставить точку на криках „ура!". Все, что угодно, только не логика человеческих судеб заставляет его поделиться с читателем еще кое-какими штрихами памяти. Эти штрихи относятся к моему пребыванию в „золотой клетке" – к жизни в эсесовском госпитале в Дахау. Госпиталь (белые домики-бараки в парке, обнесенном стеной) американцы отвели для бывших заключенных. (Очень скоро после памятного 29 апреля я заболел воспалением легких.)

Июнь сорок пятого года. Все ушло в прошлое.

Вокруг – зеленое спокойствие парка. За его стенами – мир, от которого мы отвыкли. Он по-прежнему недоступен, несмотря на то, что почти в каждом домике госпиталя радиоаппарат наигрывает марши. (Это медовый месяц победы.)

Перед окнами – кусты крыжовника. На одной из веток деловито качается дрозд.

Действительно ли все ушло в прошлое?

Я не знаю, кто из нас выжил, кто уцелел.

Где они сейчас, те, что ехали вместе со мною в тюремном вагоне в Саксенхаузене?

Где мои близкие, где мои родные?

Я ни о ком ничего не знаю. Может быть, я совершенно один?

Вот теперь, когда наконец-то можно подвести итоги и подумать о будущем, – мысль упирается в покачивающегося дрозда, в куст крыжовника, в синий блеск неба.

А Григорий Григорьевич умер. А Сергей Сичилава, Жорж, Миша, Коля Кононов вместе с восемью тысячами русских лежат ничком в лесу, куда их завели эсесовцы...

А Анатолий Николаевич? Как важно он шествовал во главе пятнадцати-двадцати человек, неся большое красное знамя! Эти полтора-два десятка пели в разнобой: одни „Интернационал", другие „Москва моя".

Русские еще не уехали. Их держат в лагере на „военной ноге". Появилось начальство, приказы, благодарности, выговоры. Ребята разбиты по полкам и батальонам и соревнуются в „строевой учебе".

„Родина вас всех прощает и ждет домой", брякнул им кто-то в брюках с лампасами, приехавший к ним на автомобиле.

Как ликовали, уезжая, датчане, французы, бельгийцы, голландцы!.. Все, все, кроме русских! Эти были озабочены и серьезны. К возвращению относились, как к обязанности. Почти никто не верил, что сразу же, возвратясь, перешагнет порог родного дома.

Как это говорил в Саксенхаузене одноглазый Алексей?

„На *том* допросе не поможет и мой выбитый глаз".

А не далее, как вчера, подошел ко мне щупленький заика-Петька – один из тех двух тысяч, что спаслись от эсесовской пули. Ему не больше семнадцати лет. Он посажен немцами в концлагерь, как остарбейтер, отказавшийся повиноваться фабричному начальству.

– С-слушай, т-ты ч-ч-человек г-грамотный, ты за г-границей долго жил. Как бы это м-м-мне не поехать, а ост-т-таться? Сам зн-зн-знаешь, малиновый к-контроль будет.

Он говорил вполголоса, оглядываясь по сторонам. Точь в точь, как в Саксенхаузене Алексей.

Действительно ли все ушло в прошлое?

Морис Ренн, мягкий и обворожительный Морис Ренн, рассказывал, что следователь угрожал применить по отношению к нему „другие методы". Может быть, угроза не осуществилась потому, что он... он... испугался пыток? А вот, Прокопа Федоровича подвешивали за локти, и он ни в чем не признался! А ведь есть такие, которым иглы под ногти загоняют, и они это выдерживают. Ну, а сам-то ты способен выдержать любую пытку, не пикнув?

Война кончилась.

В нашей палате (все сияет белизной) – пять человек. Один из них – сумасшедший венгр. Он помешался в Дахау. Он целыми днями сумрачно глядит в одну точку и ни с кем не разговаривает. Лишь, когда приходит кто-нибудь из обслуживающего персонала (военнопленные немецкие врачи и сестры

милосердия), он упрямо и злобно бубнит себе под нос:

— Дойчланд *нихт, нихт, нихт* юбер аллес.

А дрозд все качается и качается. Вдруг он, присвистнув, спорхнул на траву и быстро-быстро по ней запрыгал.

— Mein Junge, вы сегодня не выпили ваше какао. Почему?

— Zum Teufel ваше какао! Микаэла, я не хочу, чтобы со мной обращались, как с каким-то умирающим лебедем! Вам, небось, тоже надоело разносить пилюли. Хотите доставить мне удовольствие? Садитесь и сыграем в карты.

Вся беленькая — лишь волосы рыжие — похожая на одуванчик Микаэла заливисто смеется.

Россия... Далекие поля, светлая зелень перелесков, невозмутимая прозрачность воздуха... Такой я ее когда-то видел мальчиком из окна вагона.

А какое-то иное зрение видит другое: копоть и лязг новостроек. И в этой копоти — щупленький заика-Петька с бледным, запачканным умным лицом, вырабатывающий стахановские нормы, тянущий, тянущий и тянущий вверх вагонетки с углем.

И где-то, в непроницаемых кабинетах сидят сытые и самодовольные, подсчитывающие кубометры и подстегивающие спотыкающегося Петьку, и еще придумывающие ему всякие там политические и уголовные параграфы, и еще заставляющие его благодарить погонщиков, как благодетелей... А разве „там" не кричат „los!", как, как это бишь, „давай, давай!"?

И кто знает, может быть лучше, что Сергей Сичилава, Жорж, Миша, восемь тысяч Сергеев, Жоржей и Миш лежат ничком в лесу? Лучше для них?

Война кончилась. Что она принесла моей Родине?

Я выучил Микаэлу играть в дурачки. Но сегодня игра что-то не клеится: я постоянно хожу не с той карты, а раз даже покрыл девятку семеркой.

У меня из головы не идет „малиновый контроль". Неужели после Дахау – Колыма? По коже прошел холодок: ведь Колыма-то еще существует!

А впереди жизнь. Жизнь, о которой сейчас, в этой „золотой клетке" знаешь ровно столько же, сколько вон тот подпрыгивающий дрозд.

– Дойчланд *нихт, нихт* юбер аллес.

Микаэла сорвалась с места и стала, как-то смешно потряхивая прической, поправлять венгру одеяло.

Я сидел над разбросанными картами, бесцельно смешивая их и вороша. Потом поднял голову. В раскрытое окно торжественно, как густой бас колокола, плыл июньский полдень.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

По российским равнинам, лесам, болотам, пескам разбросаны лагеря смерти, острова архипелага ГУЛага. Над ними высятся Гималаи литературы о них. Сотни и сотни исследований, мемуаров, статей полных слез, боли, крови, страданий. И библиотека эта непрерывно пополняется все новыми и новыми свидетельствами, показаниями, воспоминаниями. А над каждым гражданином страны „осуществленного социализма" по-прежнему висит дамоклов меч советского „правосудия". Каждому из наших соотечественников „предоставлена свобода" познакомиться и с этой стороной печальной советской действительности.

Так было и осталось там. Но было это для нас, россиян, и здесь, за рубежом.

Эта страница истории малоизвестна – скромные холмики, едва-едва возвышающиеся над сохранившимися для потомков памятниками и следами нацистских концлагерей. Книга А. Неймирока – киевлянина, россиянина, поэта и потому гражданина – один из этих холмиков.

Но в размерах ли дело, в годах ли лагерных сроков, в том ли, что там были миллионы, а здесь лишь тысячи? Не на таких весах измеряются глубины страданий. Статистика, цифры здесь неуместны и оскорбительны.

Дело в ином. Оно в том, к т о и п о ч е м у пошел на эту голгофу или был на нее насильно затащен. При всем беззаконии и произволе тоталитар-

ных режимов выбор жертв не был случайным. Жертвами становились люди, выделяющиеся из окружающей их среды, люди непокорные, несломленные, не сдающиеся. Люди, для которых приверженность идеалам и принципам – свойство их духовного настроя, их породы. Все они – активные или потенциальные противники режима: будь то советского, будь то нацистского. Ведь любой мог избежать концлагерной участи ценой раболепства, лжи, предательства; отказавшийся же ее платить автоматически и неизбежно рассматривался как враг. Бдительное око чекистов и гестаповцев – око проницательное. Оно всегда умело докапываться до человеческой сердцевины, так как чуяло ее интуитивно.

При этом не играло и не играет решающей роли, в силу каких идеалов, какой личной биографии становились люди на этот путь. Их конкретные взгляды могли быть самыми различными, важна была и осталась важной именно эта духовная сущность.

Поэтому немудрено, что люди даже крайне различных воззрений, – от коммунистов до монархистов, – жили в тех же бараках, спали на тех же нарах – от Дахау до Колымы.

При всех наших спорах, раздорах, расхождениях у каждого из нас найдется друг и единомышленник, лежащий в братской могиле ГУЛага и его нацистского подобия.

Между Германией того времени и СССР есть, однако, и кое-какое различие. В Германии от граждан иной национальности не требовалась преданность „партии и правительству". Это была прерогатива чистокровных немцев. От инородцев, за исключением евреев, требовалось лишь элементарное соблюдение законов. Для того, чтобы обратить на себя внимание

„всевидящего ока", надо было активно себя проявить противником национал-социалистической политики и замыслов фюрера, нужны были конкретные поступки и слова. Иными словами, на путь, ведущий в концлагерь, надо было вступить добровольно. Из этого не следует, что и в Советском Союзе не было или не могло быть подобных добровольцев. Там тоже можно было избежать камеры или лагеря путем формального соблюдения законов и поведения „тише воды, ниже травы". Но в зарубежье можно было вообще не попадать в обстановку, требующую один из этих выходов. Для этого нужно было заблаговременно покинуть оккупируемые немцами страны. А. Неймирок и его друзья не только не воспользовались этой возможностью, но преднамеренно, целенаправленно бросились в гущу событий и не остановились перед опасностью, когда она явно обозначилась.

У тех, кто прочтут книгу А. Неймирока, должно быть, не повернется язык сказать, что он и его друзья были предателями родины и сотрудниками ее врагов. Так же, как нельзя этого сказать и о всех тех в Советском Союзе, которые при всех обстоятельствах, при любой погоде становились и будут становиться на путь борьбы с тоталитарным режимом, вне зависимости от того, когда и как эта борьба принесет победу, и принесет ли ее вообще.

Дело совести и чести творится не ради успеха, а во имя исполнения долга.

Книга А. Неймирока не есть, однако, апология, и не для этой цели она написана. Это – бесхитростное описание, страница летописи тех трагических лет. Но ее значение выходит далеко за исторические, хронологические рамки. Она, прежде всего, – свидетель-

ство неразрывной связи между Россией подъяремной и Россией зарубежной, свидетельство параллелизма процессов и судеб, единого дыхания в помыслах и поступках тех, кто преданность стране, ее народам, ее культуре и истории ставят выше личных выгод, интересов, благополучия.

Эта духовная связь не знает пограничных постов и проволочных заграждений. Она проходит по таким высотам, которые недостижимы ни для Гестапо, ни для КГБ. Жить в этой горней атмосфере – это значит жить осмысленно, достойно и полнокровно. К такой жизни и призывает книга А. Неймирока. Она говорит о том, что не только границы, но и смерть не разделяет людей, в этом плане прикоснувшихся друг к другу хотя бы краешком души. Таков наказ этой книги для будущего России, насильственно разорванной на две неравные, но в духовном плане единые сущности.

В. Поремский

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Хорват Дмитрий Владимирович. Инженер. Прибыл в распоряжение НТС в Берлин из Югославии в 1943 г. Был арестован в июне 1944 г. и заключен в тюрьму в Бреславле. Выслан в концлагерь в Гроссрозен, затем в Саксенхаузен, Шлибен, Бухенвальд. В январе 1945 г. скончался. Обстоятельства смерти сообщены не были. Так как Д.В. был человеком не старым и не больным, то можно считать его смерть результатом заключения.
2. Дмитрий и Нина. Во время войны секретные сотрудники Гестапо, платные агенты-провокаторы.
3. Гроссен Мирослав Генрихович. Активный деятель НТС. Был также репрессирован, несмотря на швейцарское подданство.
4. Ильин Иван Александрович – известный русский философ.
5. Вергун Кирилл Дмитриевич – член Исполнительного Бюро Совета НТС. Инженер. Арестован в июне 1944 г. Один из идеологов НТС. Основатель Пражской группы НТС. Погиб в апреле 1945 г. при бомбардировке Пильзена (Чехословакия).
6. Сергеев Николай Митрофанович – врач. Один из руководителей НТС. Вел в Праге работу, в частности, с молодежью. С 1940 г. переехал в Берлин по заданию НТС и, работая одновременно врачом, руководил работой с молодежью и среди „восточных рабочих". Арестован в июне 1944 г. Погиб в концлагере Саксенхаузен в июле 1944 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Отзывы на эту книгу
просим посылать по адресу издательства:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt a. M.-80



Александр Николаевич Неймирок (псевдоним: А. Немиров) (1911–1973) родился в Киеве. В 1920 г. с семьей эмигрировал в Югославию. С 1930 по 1936 гг. учился в Белградском университете на факультете сельского хозяйства и лесоводства. Получил диплом лесного инженера и с 1936 г. работал на государственной службе.

Состоял в НТС с первого дня его основания. Принимал деятельное участие в идеологической работе. В 1942 году, по заданию НТС, направился (через Германию) на Украину. С 1943 г. жил в Берлине и в основном занимался пропагандно-идеологической деятельностью НТС среди соотечественников из военнопленных и „восточных рабочих". За причастность к НТС (запрещенному в гитлеровской Германии) и участие в его подпольной работе сидел в 1943 г. в немецкой тюрьме, а в 1944–45 гг. – в концентрационных лагерях (что и описано в предлагаемой книге „Дороги и встречи", изданной в 1947 г. под псевдонимом А. Немиров). В апреле 1945 г. освобожден американцами из лагеря Дахау. С 1945 по 1949 год находился в лагере „перемещенных лиц" Менхегоф, где участвовал в основании журналов „Посев" и „Грани" и сотрудничал в них. С 1951 по 1962 гг. работал в издательстве „Посев" в самых разных областях – литературной, публицистической, идеологической и пропагандно-политической. В 1962 г. переехал в Мюнхен и был сотрудником русского отдела радиостанции „Свобода", продолжая литературно-публицистическую деятельность в изд. „Посев".

В разные годы сотрудничал во многих органах печати: „За Россию", „Меч", „Воля", „Наши дни", „Грани", „Русская мысль", „Новый журнал". Был долголетним членом редакционной коллегии журнала „Грани". В изд. „Посев" вышли две книжки его стихов – „Стихи" (1946) и „День за днем" (1953). Им написан также целый ряд брошюр.

Эта книга – бесхитростный и очень человечный рассказ о мытарствах заключенных в нацистских лагерях в конце войны. Автор сумел, благодаря своей любви к людям и жизни, внести свет в повествование о безрадостной концлагерной жизни.